

Камю Альбер Счастливая смерть filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

АЛЬБЕР КАМЮ

СЧАСТЛИВАЯ СМЕРТЬ

Часть первая

Было десять часов утра, когда Патрис Мерсо размеренной походкой шагал к вилле Загрея. В это время привратница уходила на рынок, дом оставался без присмотра. Был апрель, чудное весеннее утро, лучезарное и холодное, чистейшая ледяная голубизна с огромным солнцем, ослепительным, но негреющим. Потоки света струились по стволам пиний, растущих на холмах вокруг виллы. Пустынная дорога шла слегка в гору. Мерсо нес чемоданчик, его ручка мерно поскрипывала в такт сухому шелесту шагов по застывшей дороге. Славное было утро.

Немного не доходя до виллы, дорога открывалась на небольшую площадь, уставленную скамейками и украшенную клумбами. Ранние герани алели среди серых алоэ, голубело небо, белели выкрашенные известкой заборы; все это было таким свежим, таким младенчески ярким, что Мерсо невольно замедлил шаги перед тем, как двинуться дальше по пути, ведущему под уклон к вилле Загрея. У ворот остановился, натянул перчатки. Отворил дверь, которую хозяин-калека никогда не запирает, и, разумеется, прикрыл ее за собой. Двинулся по коридору и, оказавшись перед третьей дверью слева, постучал и вошел. Загрей был там, где ему и следовало быть, в кресле у камина, на том самом месте, где два дня назад сидел Мерсо. Обрубки его ног были покрыты пледом. Он читал, уставившись в лежащую перед ним книгу. В его круглых глазах не отразилось никакого удивления, когда он заметил Мерсо, застывшего в дверях. Занавески на окнах были отдернуты, и всюду, на полу, на стенах, на углах мебели, искрились солнечные брызги. За окнами, над золоченой и холодной землей, ликовало утро. Великая, леденящая душу радость, пронзительные и неуверенные выкрики птиц, половецкое безжалостное свечение – все это придавало утру обличье невинности и подлинности. Мерсо замер, у него перехватило дыхание и заложило уши от духоты, царившей в комнате. Несмотря на перемену погоды, Загрей велел растопить камин. Мерсо чувствовал, что кровь стучит у него в висках и стук этот отдается в ушах. Хозяин, не проронив ни слова, следил за ним взглядом. Патрис подошел к сундуку, стоявшему по другую сторону камина, и, не глядя на калеку, положил свой чемоданчик на стол. Вот тут-то он и почувствовал чуть заметную дрожь в коленях. Остановился, сунул в рот сигарету, кое-как прикурил, в перчатках было неудобно. Позади него раздался легкий хлопок. Не вынимая сигарету, он обернулся. Загрей, только что захлопнувший книгу, все смотрел и смотрел на него. Нагнувшись к пышущему жаром камину, Мерсо прочел название книги, обращенной к нему вверх ногами: «Придворный» Бальтасара Грасиана [1 – Бальтасар Грасиан (1601–1658) – испанский писатель-моралист, иезуит.]. Не раздумывая больше, он склонился над сундуком и открыл его. Черный на белом, там лоснился всеми своими кривыми линиями револьвер, смахивающий на ухоженного кота; он, как всегда, стерег предсмертную записку Загрея. Мерсо взял ее в левую руку, а револьвер – в правую. Потом, поколебавшись, сунул револьвер под мышку и раскрыл конверт. В нем не было ничего, кроме большого листа бумаги, исписанного крупным угловатым почерком, всего несколько строк:

«Кончая самоубийством, я уничтожаю лишь половину самого себя. Пусть не посетуют на меня за это, содержимого моего сундучка с лихвой хватит, чтобы вознаградить тех, кто мне до сих пор служил. А излишки должны пойти на улучшение режима приговоренных к смерти. Впрочем, я понимаю, что прошу слишком многого».

Мерсо с непроницаемым лицом сложил письмо; как раз в этот миг у него защемило глаза от сигаретного дыма, а столбик пепла упал на конверт. Он встряхнул бумагу, положил ее на стол, на видное место, и обернулся к Загрею. Тот смотрел теперь на конверт, сжимая книгу короткими мускулистыми руками. Мерсо нагнулся, повернул

ключ в сундуке, принялся выбирать из него пачки, завернутые в газетную бумагу, – был виден только их обрез. Держа револьвер под мышкой и действуя только одной рукой, он мало-помалу наполнил свой чемоданчик. Там было приблизительно десятка два пачек с сотенными купюрами, и Мерсо понял, что его чемодан оказался, пожалуй, великоват. Одну пачку он оставил в сундуке. Закрыв чемодан, он швырнул полупогасшую сигарету в камин и, взяв револьвер в правую руку, подошел к калекке.

Теперь Загрей смотрел в окно. Было слышно, как мимо ворот медленно, с чавкающим звуком, проехала машина. Загрей сидел не шелохнувшись, словно замороженный бесчеловечной красотой этого апрельского утра. Он не отвел глаз даже тогда, когда почувствовал у правого виска револьверный ствол. Но смотревший на него Мерсо увидел, что его глаза наполнились слезами. И тогда сам зажмурился. Сделал шаг назад – и выстрелил. Целое мгновение простоял, прислонившись к стенке, не открывая глаз, слыша, как кровь звенит у него в висках. Потом собрался с духом и взглянул. Голова Загрея запрокинулась на левое плечо, а тело почти не сдвинулось с места. Так что видел он не Загрея, а только огромную рану, мешанину из мозгов, костей и крови. Вздрыгнув, Мерсо обогнул кресло, нашарил правую руку мертвеца, зажал в ней револьвер, поднес его к виску и отпустил. Револьвер упал на подлокотник кресла, а оттуда – на колени Загрея. Мерсо перевел взгляд на лицо калеки. На нем застыло то же серьезное и печальное выражение, как минуту назад, когда он смотрел в окно. Неожиданно за воротами раздался пронзительный звук рожка. Затем этот ирреальный призыв повторился. Склонившийся над креслом Мерсо не пошевелился. Послышался шум мотора – машина мясника отъехала. Мерсо подхватил чемодан, отворил дверь – ее ручка так и сияла под лучами солнца – и вышел. Голова у него гудела, во рту пересохло. Миновал ворота, размашистой походкой зашагал прочь. Вокруг не было ни души, кроме стайки ребятишек в дальнем конце площади. Вилла осталась за спиной. Дойдя до площади, он внезапно почувствовал, что совсем продрог: на нем был только легкий пиджак. Пару раз чихнул – долина отозвалась насмешливым и звонким эхом, разнесшимся до самого хрустального небосвода. Чуть вздрогнув, он остановился и глубоко вздохнул. Небесная лазурь слала земле миллионы сияющих улыбок. Они играли в листьях, еще полных дождевой влаги, на сыром туфе аллей, летели к домам с черепичными кровлями цвета свежей крови и снова взмывали к воздушным и солнечным озерам, откуда только что прыгнули на землю. Слышалось мирное мурлыканье крохотного самолетика, плившего где-то вверху. Воздух был так ясен, так щедры были небеса, что казалось – нет у людей иного призвания, чем жить и быть счастливыми. Но в душе Мерсо все молчало. Чихнув в третий раз, он снова вздрогнул, теперь уже сильнее, и понял, что его лихорадит. Тогда, не оглядываясь по сторонам, он пустился бежать – только поскрипывал чемодан и гудела земля под ногами. А добравшись до дома, зашвырнул чемодан в угол, бросился на кровать и проспал до середины следующего дня.

II

Лето переполняло порт гулом голосов и солнцем. Близился полдень. День раскалывался пополам, обрушивая на набережные свою знойную сердцевину. Перед складами Алжирской торговой палаты грузились «скьяффино», суденышки с черным корпусом и красной трубой. Аромат мельчайшей мучной пыли, исходящий от мешков с зерном, смешивался с тяжелым запахом вспучившегося под солнцем асфальта. Возле крохотной забегаловки, пропахшей древесным лаком и анисовой водкой, толпились выпивохи, арабские акробаты в красных трико кувыркались на пышущих жаром плитах, за которыми море так и искрилось солнечными бликами. Не глядя на них, грузчики с мешками за спиной ступали по мосткам из двух пружинящих досок, поднимаясь с причала на палубу. Дойдя доверху, внезапно прорисовавшись над гаванью, на фоне неба, среди лебедек и мачт, они на мгновение замирали, ослепленные близостью небес, – только поблескивали глаза на лицах, залепленных белесоватой коркой из пота и мучной пыли, – и вслепую ныряли в душный, словно пропитанный парной кровью трюм. В раскаленном воздухе без конца выла сирена.

И вдруг люди на сходнях вздрогнули и остановились. Один из грузчиков оступился и упал. Он не провалился, но защемил ногу в зазоре между досками. С вывернутой за спину рукой, придавленный тяжеленным мешком, он вопил от боли. Как раз в этот момент Патрис Мерсо вышел из своей конторы. Едва он переступил порог, как у него перехватило дыхание от жары. Широко раскрыв рот, он наглотался асфальтовых испарений, ободравших ему глотку, и застыл на месте, глядя на грузчиков. Они уже вытащили раненого, уложили его на пыльные мостки. Губы у него побелели от боли, плетью висела сломанная выше локтя рука, из страшной кровоточащей раны торчал

обломок кости. Стекая вдоль локтя, капли крови одна за другой шлепались на пылушие жаром плиты и с шипением испарялись. Мерсо, не отрываясь, смотрел на кровь, когда кто-то тронул его за рукав. Это был Эмманюэль, парнишка, служивший рассыльным. Он указал Патрису на приближавшийся к ним грузовик: «Давай?» Патрис кивнул. Грузовик уже промчался мимо. И они тут же рванулись вдогонку, утопая в грохочущем пыльном облаке, задыхаясь и жмурясь, почти ничего не соображая и чувствуя только бешеный порыв, который сломя голову нес их мимо лебедек к машине, мимо танцующих на горизонте мачт, мимо облупившихся, словно изъеденных проказой, корабельных корпусов. Мерсо первым ухватился за борт грузовика и, щеголяя силой и ловкостью, прыгнул в кузов. Помог забраться Эмманюэлю; они уселись на скамейке, болтая ногами, и, окутанный меловой пылью, озаренный душным солнечным маревом, струившимся с небес, окруженный огромными и фантастическими декорациями порта, ошетилившегося мачтами и черными стрелами подъемных кранов, грузовик полным ходом умчался, подбрасывая на ровной брусчатке Эмманюэля и Мерсо, которые хохотали, хохотали до изнеможения, а кровь так и бурлила у них в голове.

Добравшись до Белькура, они спрыгнули с грузовика. Эмманюэль пел, пел громко и фальшиво. «Понимаешь, – говорил он Мерсо, – песня так и рвется из груди, когда все у меня в порядке. Или когда я плаваю». Так оно и было. Эмманюэль любил петь во время плавания, и его голос, хриловатый от одышки, исчезающей на море, вторил взмахам коротких мускулистых рук. Они свернули на Лионскую улицу. Мерсо шагал размашистой походкой, поводя широкими плечами, высоченный, спортивный. Ступал ли он на закраину тротуара, сторонился ли встречных, которые могли задеть его в толпе, – во всех его движениях сквозили молодость и поразительное здоровье, сулившие их обладателю переизбыток плотских радостей. Отдыхая, он лежал на боку, чуть рисуясь своей гибкостью, словно спортсмен, научившийся ценить собственную телесную красоту. Надбровные дуги, из-под которых поблескивали глаза, были, пожалуй, малость тяжеловаты. Говоря с Эмманюэлем, он машинально теребил ворот, словно тот был тесноват, да то и дело кривил изогнутые подвижные губы. Они зашли в ресторан. Высмотрели себе местечко и молча принялись за еду. В тени было прохладно. Жужжали мухи, слышалось звяканье посуды, доносились обрывки разговоров. Хозяин заведения, высокий и усатый тип – его звали Селест – подошел к их столику, сунул руку под фартук, поскреб себе живот.

– Как дела? – спросил Эмманюэль.

– Как у всех стариков.

Они обменялись приветствиями, похлопали друг друга по плечу. Завязался разговор.

– Видишь ли, – сказал Селест, – старики – это сущие мудаки. У них считается, что только тот человек, кому стукнуло пятьдесят. И все потому, что сами на шестом десятке. А вот у меня был один приятель, так он чувствовал себя человеком только в обществе своего сына. Всюду вместе ходили. И за ворот заливали тоже вместе. Зайдут, бывало, в казино – мой приятель говорит: «С какой это стати я буду знаться со всяким старичьем? У них только и разговору, что про слабительное да про печеночные колики. То ли дело с сыном пройтись. А подцепит он случаем какую цыпочку, я притворюсь, будто ничего не видел, – и на трамвай. Спасибо и до свиданья. И все рады-счастливы».

Эмманюэль расхохотался.

– Он мне, конечно, не указ, – продолжал Селест. – Но уж очень я его уважал. – Он подмигнул Мерсо. – К тому же я это самое дело люблю побольше него. Кстати, когда ему повезло, он жутко задрал нос, кивнет, бывало, и все. Теперь-то, когда он все потерял, спеси в нем поубавилось».

– И поделом, – сказал Мерсо.

– А все оттого, что не нужно быть таким сволочным. Но, как ни крути, были у него золотые денечки. Девятьсот тыщ франков – не шуточное дело... Вот бы мне такие деньги!

– И что бы ты с ними сделал? – спросил Эмманюэль.

– Купил бы домишко, капнул себе клею на пупок да пристроил флажок. И поглядывал бы, откуда ветер дует.

Мерсо ел спокойно до тех пор, пока Эмманюэлю не вздумалось в который раз позабавить хозяина своей знаменитой историей о битве на Марне.

– Мы не кто-нибудь были, а зуавы, а из нас простых пехотинцев сделали...

– Брось, осточертело, – миролюбиво заметил Мерсо.

– Командир кричит: «В атаку!» – продолжал Эмманюэль. – И вот поперли мы через какой-то буерак. Нам велят атаковать, а впереди никого не видно. Ну, что делать, топаем да топаем. И вдруг как застрочат пулеметы! И мы давай валиться друг на друга. Столько народу покалечило да поубивало, столько кровищи вытекло, что хоть на лодке плавай. И тут один малый как заверещит: «Ой, мама! Я боюсь!»

Мерсо поднялся, завязал свою салфетку узлом. Хозяин двинулся к двери, ведущей на кухню, чтобы прикинуть на ней мелом, во что обошелся завтрак. Дверь служила ему чем-то вроде расчетной книжки. Когда посетители начинали пререкаться, он молча снимал свой гроссбух с петель, взваливал на спину и уносил. Рене, сын хозяина, примостившись в уголке, ел яйцо всмятку.

– Не повезло парню, – заметил Эмманюэль, – помирает от чахотки.

Что правда, то правда. Рене был обычно молчалив и серьезен. Не то чтобы слишком худой, но с болезненным блеском в глазах. Сейчас какой-то посетитель уверял его, что туберкулез вполне излечим, было бы время, «ну, и остерегаться надо». Тот с важным видом кивал и поддакивал, не переставая уплетать яйцо. Мерсо подсел к нему за стойку, чтобы выпить кофе. Утешитель продолжал:

– Ты знал Жана Переза? Ну, того, что служил в Газовой компании? Так вот, он помер. У него всего одно легкое было затронуто. А он решил раньше времени удрать из больницы и вернуться домой. А там жена. Не жена, а суцая кобыла. А при его болезни, сам понимаешь, так и тянет на это дело. И он с нее, можно сказать, не слезал. Она-то особенного желанья не проявляла. А он как с цепи сорвался. Два-три раза на дню – и так всю дорогу. Вот он и отдал концы.

Рене поперхнулся куском хлеба и уставился на собеседника.

– Да, – выдавил он наконец, – болезнь такая штука: входит пудами, а выходит золотниками.

Мерсо принялся выводить свое имя пальцем на запотевшем кофейнике. Глаза у него слипались. Вот так, день за днем, колыхалась туда-сюда его жизнь, пропитанная запахами кофе и асфальта, – то качнет к этому невозмутимому туберкулезнику, то к лопящемуся от песен Эмманюэлю, – колыхалась сама по себе, чуждая ему самому, его сердцу и скрытой в нем истине. Те вещи, которые при других обстоятельствах взволновали бы его, не находили в нем отклика, потому что он успевал изжить их за день, и только вечером, когда возвращался домой, ему приходилось напрягать все силы, чтобы хоть немного пригасить полыхавшее в нем пламя жизни.

– Скажи-ка мне, Мерсо, я правильно посчитал? – обратился к нему хозяин. – Ты ведь у нас парень образованный.

– Правильно, – сказал Мерсо, – можешь не проверять.

– То-то и оно, сегодня ты львиную порцию умял.

Мерсо улыбнулся, вышел из ресторана и, перейдя через дорогу, поднялся к себе в комнату. Она располагалась прямо над мясной лавкой, где торговали кониной. Свесившись с балкона, до которого доносился запах крови, можно было прочесть вывеску: «У благороднейшего из друзей человека». Мерсо растянулся на кровати, выкурил сигарету и заснул.

Он поселился в той комнате, которую прежде занимала его мать. Они долго прожили вдвоем в этой трехкомнатной квартирке. Оставшись один, Мерсо сдал две комнаты знакомому бочару и его сестре, а себе оставил ту, что была получше. Его мать умерла в пятьдесят шесть лет. Смолodu она была красавицей и поэтому считала, что имеет право на кокетство, беззаботную жизнь и блестящее будущее. Но годам к сорока в нее вцепилась страшная болезнь. Ей пришлось забыть о нарядах, косметике

и вырядиться в домашний халат, лицо у нее распухло от ужасных нарывов, ноги до того отекали и ослабели, что каждый шаг давался с трудом, вдобавок она почти ослепла и кое-как, на ощупь ковыляла в вечном полумраке по неприбранной квартире.

Удар был неожиданным и резким. У матери обнаружили врожденный диабет, не только запущенный, но и усугубленный ее безалаберной жизнью. Патрису ничего не осталось, как бросить занятия и пойти на работу. Но он продолжал читать и раздумывать над прочитанным до самой кончины матери. А она промучилась еще лет десять. Этот крестный путь настолько затянулся, что все окружающие свыклись с ее болезнью и как-то упустили из виду, что жизнь страдальцы висит на волоске. Она умерла в одночасье. Все в округе жалели Мерсо. Вспоминали, как он был привязан к матери. Ждали от похорон чего-то необыкновенного. Упрашивали дальних родственников поменьше плакать, чтобы не растревать душу Патриса. Умоляли их не оставлять сироту, заклинали принять участие в его судьбе. А он, принарядившись как только мог, держа шляпу в руке, следил за всеми приготовлениями. Шел за гробом, присутствовал при отпевании, бросил в могилу первую пригоршню земли, пожал, как требует обычай, руки всем присутствовавшим. И только раз выразил удивление и недовольство, когда оказалось, что для приглашенных было заказано слишком мало экипажей. На том все и кончилось. Уже на следующий день в одном из окон дома появилась объявление: «Сдается внаем». Теперь он занял комнату матери. Прежде, когда они жили вместе, в их бедности была своя прелесть. Когда они сходились по вечерам и ужинали при свете керосиновой лампы, эта простота и уединенность были овеяны потаенным счастьем. Окрестные кварталы были молчаливы. Мерсо поглядывал на усталый рот матери и улыбался. Она тоже улыбалась. Он снова принимался за еду. Лампа немного коптила. Мать привычным движением поправляла фитиль, для этого ей не надо было даже наклоняться, только руку протянуть. «Больше не хочется?» – спрашивала она чуть погодя. – «Нет». – Потом он курил или читал. «Опять!» – ворчала она, заметив сигарету. А если он брался за книгу, напоминала: «Сядь поближе к лампе, глаза испортишь». Теперь, когда он остался один, прежняя бедность обернулась для него лютой нищетой. Он мог бы устроиться и получше, но продолжал цепляться за эту квартиру с въевшимся в нее запахом нужды. Здесь он, по крайней мере, мог оставаться таким, каким был прежде. Добровольно стушевавшись перед жизнью, он терпеливо проводил наедине с самим собой долгие часы, исполненные печали и сожаления. Он не решался снять с входной двери разлохмаченный по краям кусочек серого картона, на котором его мать синим карандашом вывела когда-то свое имя. Оставил старую медную кровать, покрытую сатином, и портрет деда: маленькая борода, светлые, неподвижные глаза. На камине пастухи и пастушки толпились вокруг старых остановившихся часов и керосиновой лампы, которую он теперь почти никогда не зажигал. Сомнительная мебель из соломенных, слегка продавленных стульев, одежного шкафа с помутневшим зеркалом и туалетного столика с отбитым уголком словно бы и не существовала для него, так он к ней присмотрелся. От жилья осталась одна видимость, да, может, оно и к лучшему, незачем лезть вон из кожи. В другой комнате ему пришлось бы осваиваться заново, а то и менять образ жизни. А он хотел сузить пространство, отпущенное ему в мире, и спать до тех пор, пока все на свете не кончится. Комната матери вполне годилась для этой цели. Одним окном она выходила на улицу, другим – на террасу, вечно завешанную бельем, за которой теснились между высокими стенами маленькие апельсиновые сады. Иногда летними ночами он, не зажигая в комнате света, отворял окно на террасу и темные сады. Из ночи в ночь доносился оттуда сильный апельсиновый запах, овеивал его невесомыми струями. Целую ночь его комната и он сам тонули в этом тонком, но густом аромате, и тогда ему казалось, будто он, проведя целую вечность за гранью смерти, наконец-то распахнул окно в жизнь.

Он проснулся с привкусом сна во рту, весь покрытый потом. Было уже поздно. Он причесался, вприпрыжку сбежал по лестнице, вскочил в трамвай. И в пять минут третьего очутился у себя в конторе. Он работал в большой комнате, все ее четыре стены были заняты нишами, в которых пылились документы. Комната не была ни грязной, ни мрачной, она просто-напросто смахивала на колумбарий, где истлевало мертвое время. Мерсо проверял накладные, переводил списки с названиями товаров, прибывших на английских судах, а с трех до четырех принимал клиентов, которым нужно было отправить посылки. Он сам напросился на эту работу, которая ему, в сущности, вовсе не подходила, но поначалу казалась хоть какой-то отдушиной. Здесь мелькали живые лица, толпились завсегда, веяло свежестью, от которой вздрагивало его усталое сердце. Здесь он мог укрыться от трех машинисток и мсье Ланглуа, начальника конторы. Одна из машинисток была довольно хорошенькой, недавно замужем. Вторая жила с матерью, а третья оказалась старой девой,

положительной и энергичной; Мерсо нравился ее цветистый язык и мужественное отношение к «своим несчастьям», как выражался мсье Ланглуа, который часто вступал с ней в перепалку и неизменно оказывался побежденным. Старая мадам Эрбийон презирала его за пропотевшие насквозь, прилипшие к ляжкам брюки, за то, что он терял голову в присутствии директора и приходил в замешательство, услышав по телефону имя какого-нибудь адвоката или дворянчика. Бедняга тщетно пытался задобрить старую даму, найти путь к примирению. В этот день он распинался, стоя посередине кабинета: «Ну согласитесь же, мадам Эрбийон, что не такой уж плохой я человек». Мерсо прикидывал, что бы такое значило английское слово «vegetables» [2 – овощи, зелень (англ.)], смотря поверх его головы на лампочку в зеленом абажуре из тисненого картона. Напротив висел цветной настенный календарь с изображением какого-то религиозного праздника в Канаде. Промокашка, блокнот, чернильница и линейка выстроились в ряд на столе. Окна выходили на огромные штабеля дров, привезенных из Норвегии желтыми и синими судами. Мерсо прислушался. За стеной, над морем и портом, глухо и глубоко дышала жизнь. Такая далекая и такая близкая... Пробыло шесть часов: наконец-то он свободен. Сегодня была суббота.

Вернувшись к себе, он прилег и проспал до самого ужина. Изжарил яичницу, поел прямо со сковороды (без хлеба – забыл купить), потом снова улегся и тут же уснул – теперь уже до утра. Проснувшись чуть раньше обычного, умылся и пошел перекусить. Вернулся, решил два кроссворда, аккуратно вырезал из газеты рекламу лекарственных солей и наклеил ее в тетрадку, заполненную снимками престарелых шутников, съезжающих по перилам. По замусоренной мостовой торопились куда-то редкие прохожие. Он внимательно провожал взглядом каждого, отпуская его только тогда, когда тот исчезал из поля зрения, и тут же переключался на нового. Сперва ему попалась вышедшая на прогулку семья: двое ребят в накрахмаленных матросках и штанишках ниже колен и девочка с большим розовым бантом, в черных лакированных туфельках. За ними шагала мать в шелковом коричневом платье, этакое страшилище с горжеткой вокруг шеи, и представительный папаша с тростью в руке. Чуть позже появилась группа местных парней: напомаженные пробыры, пестрые галстуки, чересчур приталенные пиджаки с вышитыми карманчиками, тупорылые ботинки. Смеясь во всю глотку, они спешили к трамвайной остановке – им нужно было в центр, в кино. После них улица мало-помалу опустела. Утренние сеансы уже начались. Теперь во всей округе не осталось никого, кроме лавочников да кошек. Над фикусами, посаженными вдоль тротуара, круглилось матовое небо. Владелец табачной лавочки вытащил на улицу стул и уселся на него верхом, ухватившись руками за спинку. Трамвай, в которые только что нельзя было втиснуться, шли почти пустые. В маленьком кафе «У Пьеро» гарсон посыпал опилками безлюдный зал. Мерсо повернул свой стул спинкой к улице, как тот торговец, и одну за другой выкурил пару сигарет. Вернулся в комнату, разломил плитку шоколада и сжевал ее, стоя у окна. Чуть погодя небо потемнело и тут же снова прояснилось. Но мимолетный наплыв облаков подарил улице что-то вроде надежды на дождь. В пять часов снова загрохотали трамваи, облепленные гроздьями болельщиков: те возвращались из предместья, со стадионов, стоя на подножках и цепляясь за поручни. Следующая вереница трамваев привезла игроков, которых можно было узнать по маленьким чемоданчикам. Они вопили что есть мочи и распевали песни во славу своих команд. Увидев Мерсо, помахали ему. А один крикнул: «Мы их раздолбали». «Ага», – отозвался он и кивнул. Машин становилось все больше. Кое-кто из водителей украсил капоты и бамперы цветами. Потом день продвинулся еще немного. Небо над крышами чуть раскраснелось. К вечеру улицы снова оживились. Появились гуляющие. Усталые дети плакали, их приходилось тащить силком. Из окрестных киношек выплеснулись на улицу толпы зрителей. По решительным и хвастливым жестам парней, выходивших оттуда, Мерсо угадывал содержание боевика, который они только что видели. Чуть позже появились зрители, смотревшие кино в центре. Эти вели себя сдержанней. Перемигиваясь, обменивались грубыми прибаутками, но в их глазах и во всем облике сквозила затаенная тоска по той шикарной жизни, которая приоткрылась им на экране. Они не сразу разошлись по домам, стали прогуливаться по улице. В конце концов на тротуаре, под окном Мерсо, образовалось два людских потока. В одну сторону шли, взявшись за руки, местные девицы с пышными прическами. А навстречу им валили парни, отпуская шуточки, заставлявшие девиц хихикать и отворачиваться. Люди посерьезней заходили в кафе или сбивались в кучки на тротуаре; людской поток раздваивался, обтекая эти островки. Теперь улица была освещена, первые звезды, восходившие в ночи, казались бледными из-за электрических фонарей. Тротуар под окном Мерсо напоминал прилавок, полный людей и огней. Лоснилась грязная мостовая, трамвайные фары время от времени бросали отблеск на чью-то напомаженную шевелюру, влажный рот, улыбку или серебряный браслет. Чуть погодя, когда трамваи стали реже, а над деревьями и фонарями сгустилась ночная чернота, квартал незаметно опустел – и вот уже первая кошка

медленно перешла безлюдную улицу. Мерсо вспомнил об ужине. У него слегка затекла шея: слишком уж долго он сидел, упершись подбородком в спинку стула. Он вышел купить хлеба и паштета, приготовил себе поесть, а потом вернулся к окну. Люди расходились по домам, в воздухе посвежело. Он вздрогнул, притворил раму, подошел к зеркалу, висевшему над камином. Если не считать редких вечеров, когда к нему заглядывала Марта или он выходил вместе с ней, да встреч с подружками из Туниса, вся его жизнь умещалась в жалкой перспективе этого пожелтевшего зеркала, отражавшего комнату, где засаленная спиртовка соседствовала с хлебными корками.

«Вот и еще одно воскресенье прошло впустую», – сказал себе Мерсо.

III

Когда Мерсо вечерами прогуливался по улицам, с гордостью поглядывая, как свет и тени скользят по лицу Марты, все казалось ему фантастически доступным, радовали собственная сила и смелость. Он был благодарен Марте за то, что она не стеснялась выставлять напоказ, идя рядом с ним, свою красоту, которая день за днем окатывала его волнами легкого хмеля. Он мучился, замечая обращенные на нее взгляды мужчин, но страдал бы еще сильнее, будь она дурнушкой. Вот и сегодня ему было так приятно войти вместе с ней в кино, незадолго до начала сеанса, когда зал был уже почти полон. Она шла впереди, окруженная восхищенными взглядами, шла во всей своей победной красе – и лицо ее было как сад, полный цветов и улыбок. А он шагал за ней со шляпой в руке, преисполненный сознания собственной элегантности, чувствуя себя довольным сверх всякой меры. Он принял вид рассеянный и серьезный. С преувеличенной вежливостью посторонился, чтобы дать пройти билетерше, нагнулся, опуская сиденье для Марты. И все это не столько из желания покрасоваться, сколько из признательности, расправившей его душу, наполнявшей ее любовью ко всему на свете. И чересчур щедрые чаевые он дал билетерше, потому что не знал, как отблагодарить судьбу за свою радость, а еще ему хотелось этим пустяковым жестом почтить свое божество, чья ослепительная улыбка масляным блеском отражалась во взгляде. В антракте он прогуливался по фойе, увешенному зеркалами, в которых множились облики его счастья, наполняя зал изящными и зыбкими фигурами: вот высокий и темный силуэт Мерсо, вот фигура улыбающейся Марты в светлом платье. Что и говорить, ему нравилось собственное лицо, увиденное в зеркале, сигарета во рту, чувственная горячка слегка запавших глаз. Но ведь красота мужчины – это лишь отражение его внутренних практических достоинств. На его лице написано то, что он способен совершить. Совершить ради сияющей бесполезности женского личика. Мерсо отлично понимал это и тешил тщеславие, улыбаясь своим тайным демонам.

Вернувшись в кинозал, он подумал, что в одиночку ни за что не вышел бы в фойе, а сидел бы здесь, покуривая и слушая пластинки с легкой музыкой, которые прокручивались в перерыве. Но в этот вечер игра шла своим чередом. И все средства были хороши, чтобы растянуть ее, придать ей новизну. Когда Марта устраивалась в кресле, ей поклонился какой-то мужчина, сидевший несколькими рядами дальше, и она помахала ему в ответ. Мерсо сделал то же самое, и тут ему показалось, будто губы незнакомца скривились в легкой усмешке. Он уселся, не заметив, что Марта положила ему руку на плечо, как бы приглашая к разговору, а ведь минутой раньше он воспринял бы этот жест с радостью, как новое доказательство его власти над ней.

– Кто это? – спросил он, ожидая вполне естественного ответа: «Ты о ком? Ах, этот... Да ты же его прекрасно знаешь, его зовут...»

Но вместо этого Марта только вздохнула и промолчала.

– Ну говори же!

– Тебе так уж необходимо это знать?

– Да нет, – сказал Мерсо и тайком обернулся.

Незнакомец с непроницаемым лицом устался в затылок Марты.

Довольно видный мужчина с ярко-красными губами, вот только глаза, чуть навывкате, какие-то невыразительные. Мерсо почувствовал, как кровь, волна за волной, ударяет ему в виски. Сияющие краски того идеального декора, в котором он прожил

несколько часов, внезапно обернулись липкими струями пота, помрачившими его взгляд. А что, собственно, он ожидал от нее услышать? Он и без того был уверен, что она спала с этим типом. Его охватила какая-то паника при мысли о том, что мог думать сейчас этот человек. Наверное, то же, что и он сам: «Можешь хорохориться сколько угодно, дружок...» При мысли, что этот человек в эту самую минуту вспоминает о том, как Марта ведет себя в постели, как она прикрывает глаза ладонью в миг наслаждения, при мысли о том, что он тоже пытался отстранить руку Марты, чтобы разглядеть в ее глазах сумасшедшую пляску сумрачных богов, Мерсо почувствовал, что все в нем рушится, а под сомкнутыми веками набухают бешеные слезы. Раздался звонок к началу сеанса. Мерсо и думать забыл о Марте, которая была всего лишь внешним поводом его недавней радости, а теперь стала источником его гнева. Он долго сидел с закрытыми глазами и лишь спустя некоторое время решился взглянуть на экран. Перед ним лежал опрокинутый автомобиль, одно из его колес продолжало медленно и беззвучно крутиться, как бы вовлекая в свой порочный круг весь стыд и всю униженность, рожденные озлобленным сердцем Мерсо.

Но стремление к определенности оказалось сильнее гордости.

– Скажи, Марта, он был твоим любовником?

– Ну да, – ответила она, – только не мешай мне смотреть.

С этого дня Мерсо понял, что начинает привязываться к Марте. Он познакомился с ней несколько месяцев назад и был поражен ее красотой и элегантностью. У нее было чуть широковатое, но правильное лицо, золотистые глаза и столь искусно подкрашенные губы, что она казалась богиней, не чурающейся косметики. Врожденная недалекость, сквозившая во взгляде, только подчеркивала ее неприступность и невозмутимость. До сих пор всякий раз, когда Мерсо делал первые шаги к женщине, не забывая о роковом законе, в силу которого любовь и простое желание внешне выражаются совершенно одинаково, он уже думал о разрыве, еще не успев заключить эту женщину в объятия. Но знакомство с Мартой пришлось на ту пору, когда он начал освобождаться от всего на свете, включая и самого себя. Мысли о свободе и независимости рождаются лишь у того, кто еще живет надеждой. А для Мерсо все это уже утратило всякий смысл. И в тот первый день, когда Марта обмякла в его объятиях, когда он увидел, как на ее придвинувшемся вплотную и оттого расплывающемся лице дрогнули и потянулись к нему губы, бывшие до сих пор неподвижными, словно нарисованные цветы, ему не удалось угледеть будущего в чертах этой женщины: в них сквозила только сила его собственного желания, которая сосредоточилась в ней и приняла ее облик. Потянувшиеся к нему губы были залогом бесстрастного, но разбухшего от страсти мира, в котором найдет успокоение его сердце. И все это показалось ему чудом. Его сердце дрогнуло от чувства, которое он чуть было не принял за любовь. Ощувив на губах вкус пышной и тугой плоти, он впился в нее так жаростно, будто впивался в дикую свободу. В тот же день она стала его любовницей. Чуть погодя их любовный союз совсем налачился. Но, узнав ее получше, он мало-помалу утратил ощущение той необычайности, которая сквозила в ней первоначально, и, клонясь к ее губам, иной раз пытался воскресить это чувство. Вот почему Марта, привыкшая к сдержанности и холодности Мерсо, так и не смогла уразуметь, почему однажды он вдруг потянулся к ней с поцелуем в битком набитом трамвае. Ничего не понимая, она подставила ему губы. И он впился в них так, словно и впрямь был влюблен, – сначала прильнув к ним, потом медленно их покусывая. «Что это с тобой?» – спросила она. В ответ он улыбнулся мимолетной улыбкой, которая так ей нравилась, и сказал: «Люблю побезобразничать», а потом запнулся и замолчал. Не понимала она и некоторых выражений Патриса. После любви, в тот миг, когда в облегченном и расслабленном теле потихоньку задремывает сердце, исполненное той нежности, которую может испытывать хозяин к ласковой собачонке, Мерсо, улыбаясь, говорил ей: «Привет, мой милый призрак».

Марта была машинисткой. Она не любила Мерсо, но привязалась к нему оттого, что он интриговал ее и льстил ее самолюбию. Привязалась с того дня, когда представленный ей Эмманюэль сказал о своем друге так: «Вы знаете, Мерсо – хороший парень. Есть в нем что-то такое. Только он не любит раскрываться. Вот все в нем и ошибаются». Тогда она посмотрела на Мерсо с любопытством. Он сделал ее счастливой в любви, а большего она и не требовала, как нельзя лучше приспособившись к этому молчаливому любовнику, который никогда ничего у нее не просил, но с удовольствием принимал всякий раз, когда ей хотелось к нему прийти. Вот только чувствовала она себя немного скованной в обществе этого человека, в котором никак не могла нащупать ни одной слабой струнки.

И, однако, в этот раз, выходя из кино, она поняла, что и его тоже можно кое-чем уязвить. Оставшись ночевать у Мерсо, она целый вечер промолчала. Ночью он к ней не прикоснулся. Но, начиная с этого дня, она стала пользоваться своим преимуществом. Она и раньше говорила ему, что у нее были любовники. А теперь постаралась доказать это.

Зайдя к нему на следующий день, вопреки обыкновению, она не стала его будить, только присела рядом на кровать. Он был в рубашке, из-под закатанных рукавов белели подмышки загорелых мускулистых рук. Ровное дыхание вздымало грудь и живот одновременно. Две складки меж бровей придавали лицу знакомое выражение силы и упрямства, волнистые волосы разметались по сожженному дочерна лбу со вздувшейся на нем жилкой. Широкие плечи, сильные, мускулистые руки, одна нога чуть согнута: ни дать ни взять – одинокий и упрямый бог, попавший в чуждый для него мир и заснувший в нем. Глядя на его полные, припухшие от сна губы, она почувствовала, как в ней нарастает желание. В этот миг он чуть приоткрыл глаза и, снова закрывая их, беззлобно произнес:

– Не хорошо это – пялиться на спящего.

Она бросилась ему на шею, расцеловала. Он даже не пошевелился.

– Ну вот, мой милый: еще одна причуда.

– Не называй меня милым, слышишь. Я тебя уже просил.

Она вытянулась рядом с ним, посмотрела на его профиль.

– Никак не пойму, на кого ты сейчас похож.

Он подтянул брюки и повернулся к ней спиной. В театре или кино Марта нередко узнавала жесты и мимику Мерсо у какого-либо модного актера. Обычно это укрепляло его власть над ней, но сегодня эта тешащая самолюбие привычка сравнивать его с кем-нибудь только раздражала. Она прижалась к его спине, ощутив животом и грудью все его сонное тепло. Быстро вечерело, комната погружалась в сумерки. Из глубины дома доносился плач отшлепанных ребятешек, мяуканье, хлопанье дверей. Уличные фонари освещали балкон. Проходили редкие трамваи. С улицы в комнату поднимались тяжелые запахи анисовой водки и жаркого.

Марта почувствовала, как на нее наваливается сонливость.

– У тебя сердитый вид, – сказала она. – Ты и вчера был сердитым... Я потому сегодня и пришла. Ну что ты молчишь?

Она потрясла его. Мерсо не шевелился, поглядывая, как лоснятся в густой темноте под туалетным столиком его башмаки.

– Ты знаешь, – продолжала Марта, – я, в общем, перегнула палку вчера. Этот тип вовсе не был моим любовником.

– Не был? – спросил Мерсо.

– Ну, не совсем.

Мерсо промолчал. Будто он не видел, как они вчера переглядывались, улыбались. Он стиснул зубы. Потом поднялся, распахнул окно и снова сел на кровать. Она прильнула к нему, просунула руку за пазуху, погладила по груди.

– Сколько у тебя было любовников? – произнес он наконец.

– Это совсем неинтересно.

Мерсо промолчал.

– Целая дюжина, – сказала она.

После сна Мерсо обычно хотелось курить.

– А я их знаю? – спросил он, доставая пачку. Вместо лица Марты он видел только

белесое пятно. «Как во время любви», – подумалось ему.

– Кое-кого. Местных. – Она терлась головой о его плечо и говорила девчоночьим тоном, который всегда умилял Мерсо.

– Послушай, малышка, – сказал он, закуривая. – Пойми меня. Обещай мне назвать их по именам. А что касается остальных, которых я не знаю, обещай показать, если мы их встретим.

Марта отпрянула от него:

– Ну уж нет!

Под окнами грубо засигналила машина, раз, второй, третий – без конца. В ночной глубине прозвенел трамвайный колокольчик. На мраморной крышке туалетного столика холодно тикал будильник. Мерсо через силу произнес:

– Я прошу тебя об этом потому, что знаю себя. Иначе такая история будет повторяться с каждым типом, которого я встречу. Начну тебя расспрашивать, навоображаю разных разновидностей. Тут уж ничего не поделаешь. Слишком я впечатлительный. Не знаю, впрочем, поймешь ли ты меня.

Она поняла как миленькая. Назвала ему имена. Только одно из них было ему незнакомо. Последним оказался один парень, которого Мерсо знал. О нем-то он и подумал в первую очередь: тот был смазливый, бабы на него так и вешались. Что поражало Мерсо в любви, по крайней мере первоначально, так это согласие женщины на ошеломляющую близость, то, как бездумно принимала она в свое лоно плоть незнакомого ей мужчины. В этой опрометчивости, в этом головокружительном самозабвении он узнавал распалюющую и темную власть любви. Именно такого рода близость он и воображал себе, думая о Марте и ее любовнике. В этот миг она присела на край кровати и, кладя ногу на ногу, стащила с обеих ног туфли на высоких каблуках; они упали на пол – одна боком, другая – стоймя. Мерсо почувствовал, что к горлу у него подступил комок и что-то заныло внутри.

– Ты и с Рене так делала? – спросил он, улыбаясь.

Марта подняла глаза.

– Что это ты вбил себе в голову? Мы и близки-то с ним были всего один раз.

– А! – сказал Мерсо.

– Я даже туфли не успела снять.

Мерсо поднялся. Представил ее себе – лежащей навзничь, в одежде, – вот на такой же кровати. Готовой отдаться другому.

– Заткнись! – крикнул он и шагнул к окну.

– Ну что ты, милый! – всхлипнула Марта, усаживаясь на кровати; ее ноги в чулках чуть касались пола.

Мерсо понемногу остывал, глядя, как играют на рельсах огни фонарей. Никогда он не чувствовал такой нежности к Марте. Но при мысли о том, что и сам он приоткрылся перед ней больше, чем следует, его ожала ярость. Он подошел к Марте и, растопырив большой и указательный пальцы, сжал ее теплую шею под самым подбородком. Потом спросил, улыбаясь:

– А этот Загрей, кто он? Он единственный, кого я не знаю.

– С ним я и до сих пор иногда встречаюсь, – призналась Марта, сияясь рассмеяться.

Мерсо стиснул пальцы на ее шее.

– Он был у меня первым, понимаешь? Я была совсем молоденькая. А он – чуть старше. Теперь у него отняли обе ноги. Он живет один. Вот я его иной раз и навещаю. Хороший человек, и образованный. Все время читает. И веселый такой. Ну

просто потрясающий тип. А говорит точь-в-точь, как ты: «Пойди сюда, мой милый призрак».

Мерсо задумался. Отпустил Марту, она опрокинулась на кровать, закрыв глаза. Чуть погодя он присел рядом с девушкой и, склонившись к ее полураскрытым губам, попытался отыскать в ее обличье приметы животной божественности и того равнодушия к страданиям, которое казалось ему постыдным. Но весь его порыв ограничился поцелуем, дальше дело не пошло.

Когда он провожал Марту, она принялась рассказывать о Загрее:

– Я ему говорила о тебе. Сказала, что мой дружок очень красивый и сильный. И тогда он сказал мне, что не прочь бы познакомиться с тобой. Потому что, как он выразился, ему легче дышится, когда он видит перед собой красивое лицо.

– Еще один помешанный, – отозвался Мерсо.

Тут Марта решила, что сейчас самое время расквитаться с Мерсо, устроить ему маленькую, давно задуманную сцену ревности.

– Помешанный? Да уж не больше, чем твои подружки.

– Какие еще подружки? – спросил искренне удивленный Мерсо.

– Ну, твои старые клячи.

Старыми клячами она называла Розу и Клер, студентки из Туниса, знакомых Мерсо, с которыми – только с ними – он вел переписку. Он улыбнулся и потрепал Марту по затылку. Они шли долго. Марта жила возле военного плаца. Улица была длинной, поверху она светилась всеми своими окнами, а понизу, где все магазины уже закрылись, была темной и зловещей.

– Скажи, дорогой, ведь ты же их не любишь, этих старых кляч? – спросила Марта.

– Конечно, нет, – отозвался Мерсо.

Они шагали вперед, руку Мерсо, лежащую на плечах Марты, обдавало теплом ее волос.

– А меня ты любишь? – без всякого перехода спросила Марта.

Мерсо неожиданно расхохотался.

– Вот уж вопрос так вопрос.

– И все равно отвечай.

– Послушай, в наши годы смешно говорить о любви. Мы нравимся друг другу, вот и все. Любовь приходит позже, когда ты стареешь и теряешь силы. А в наши годы только воображаешь, будто любишь. Вот и все, и говорить тут не о чем.

Марта вроде бы приуныла, но он обнял ее, и она сказала: – Ну, до свиданья, милый.

Мерсо возвращался к себе по темным улицам. Шагал быстро и, чувствуя, как трется о бедра гладкая ткань брюк, думал о Загрее и об его отрезанных ногах. Ему захотелось познакомиться с калекой, и он решил попросить Марту, чтобы она свела его с ним.

После первой встречи с Загреем он был просто взбешен. А ведь тот старался как мог смягчить впечатление от встречи двух любовников одной и той же женщины в ее присутствии. Попытался расположить к себе Мерсо, называл Марту «хорошей девочкой», да еще хохотал при этом, но так ничем его и не пронял. Оставшись наедине с Мартой, Мерсо заявил ей безо всяких околечностей:

– Терпеть не могу этих ополовиненных. Они мне действуют на нервы. Мешают думать. А этот еще и хорохорится!

– Ну, ты даешь, – отозвалась Марта, которая ничего не поняла из его слов, – тебя послушать...

Но со временем беззаботный смех Загрея, так раздражавший Мерсо при первой встрече, увлек и покорило его. И еле скрываемая ревность, поначалу определявшая его поведение, исчезла. Марте, которая то и дело простодушно вспоминала пору своей близости с Загреем, он посоветовал:

– Не лезь ты вон из кожи. Не хватало еще ревновать тебя к безногому. Когда я думаю о вас, он представляется мне огромным червяком, заползшим на тебя. Смех да и только. Так что не стоит усердствовать, ангел мой.

Как-то раз он заглянул к Загрею один. Тот говорил быстро и много, смеялся, потом вдруг умолкал. Мерсо было хорошо в его комнате, среди книг и марокканской бронзы, где отблески от камина играли на непроницаемом лице кхмерского будды, стоявшего на письменном столе. Его поразило в калеке-хозяине, что тот никогда не говорил, не подумав. Со временем сдержанная страсть и горение жизни, сквозившие в этом смешном обручке, стали все больше и больше привлекать Мерсо, порождая в нем чувство, которое он, понемногу предавая забвению прошлое, пожалуй, мог бы принять за чувство дружбы.

IV

В тот воскресный день, вволю наговорившись и насмеявшись, Ролан Загрей тихо сидел у огня в кресле на колесиках, укутанный белым одеялом. Мерсо, прислонившись к книжному шкафу, смотрел сквозь шелковые занавески на небо и окрестный пейзаж. Он пришел сюда под мелким морозящим дождем и, боясь, что явился слишком рано, битый час бродил по округе. Погода была ненастная, и, не слыша ветра, Мерсо видел, как ветви деревьев беззвучно гнутся под его порывами. Со стороны улицы донеслось скрежетанье железа и скрип досок – проехала повозка молочника. И тут же дождь что есть силы забарабанил по окнам. Густые маслянистые потеки на стеклах, гулкий отдаленный стук копыт, слышавшийся теперь отчетливей, чем грохот повозки, глухой шум затяжного ливня, обрубок человека у огня и молчание, царившее в комнате, – все это обретало обличье прошлого, чья глухая меланхолия прокрадывалась в сердце Мерсо точно так же, как часом раньше просачивалась вода в его сырые ботинки, а холодок – под легкую ткань штанин. Морозящая влажная пыль, омыв его лицо легкой рукой полудождя-полутумана, подчеркнула глубоко запавшие глаза. Теперь он смотрел в небо, на которое то и дело напозлали черные тучи, расплывались и появлялись снова. Складки на брюках разгладились, а вместе с ними исчезли та теплота и доверчивость, которые каждый нормальный человек испытывает к сотворенному ради него миру. Вот почему он подошел к огню и уселся напротив Загрея, укрывшись краешком тени от высокого камина и по-прежнему уставившись в небо. Загрей посмотрел на него, отвел взгляд и кинул в огонь бумажный комок, который был у него в левой руке. От этого движения, как всегда неловкого, Мерсо стало не по себе: невыносимо было видеть это только наполовину живое тело. Загрей усмехнулся, но не обронил ни слова. Отсветы пламени играли только на левой его щеке, но и в голосе, и во взгляде чувствовалась теплота.

– У вас усталый вид, – сказал он.

– Да, я скучаю, – смущенно ответил Мерсо, а чуть погодя вскочил, подошел к окну и добавил, глядя на улицу:

– Мне хочется жениться, покончить с собой или подписаться на «Иллюстрасьон». Словом, выкинуть что-нибудь этакое.

Его собеседник улыбнулся:

– Это все оттого, Мерсо, что вы бедняк. Этим объясняется половина вашего отвращения к жизни. А вторая половина – дурацким терпением, с которым вы сносите свою бедность.

Мерсо продолжал стоять к нему спиной, глядя на деревья под ветром, Загрей сунул руку под одеяло, покрывавшее бедра.

– Вы знаете, о человеке всегда можно судить по тому, как он умеет соизмерить

свои телесные нужды с духовными потребностями. Вот вы сейчас и судите о себе, Мерсо, причем очень скверно. Вы плохо живете. По-скотски. – Он повернул голову к Патрису. – Вы, наверно, любите водить машину?

– Да.

– И женщин любите?

– Красивых люблю.

– Именно это я и хотел сказать. – Загрей отвернулся к огню.

Чуть погода он начал быстро: – Все это...

Мерсо обернулся и, прислонившись к раме, которая чуть подалась под его спиной, ждал конца фразы, но Загрей не стал продолжать. Ранняя муха колотилась о стекло. Мерсо повернулся, поймал ее и тут же отпустил. Загрей посмотрел на него и неуверенно произнес:

– Я не люблю вести серьезные разговоры. Потому что серьезно можно говорить только об одном: об оправдании собственной жизни. А вот я не знаю, как оправдать перед самим собой свои отнятые ноги.

– я тоже, – бросил, не оборачиваясь Мерсо.

Загрей неожиданно и звонко рассмеялся.

– Ну, спасибо. Вы, стало быть, не оставляете мне никаких иллюзий. – Он сменил тон. – Ваша жестокость понятна. Однако мне хотелось бы вам кое-что сказать...

Он умолк, сохраняя серьезное выражение. Мерсо уселся напротив него.

– Послушайте, – продолжал Загрей, – и посмотрите на меня. Мне помогают отправлять мои естественные надобности. А потом еще подмывают и подтирают. Хуже того, все это делается за деньги. Ну, так вот: я бы никогда не решился оборвать свою жизнь, ибо верю в нее. Я согласился бы и на худшую долю, быть слепым, немым, кем хотите, лишь бы ощущать в чреслах то сумрачное и жгучее пламя, которое и есть мое «я», мое живое «я». Я и тогда благодарил бы жизнь за то, что она еще позволяет мне пылать.

Загрей откинулся назад, чтобы перевести дыхание. Теперь его плохо было видно, только бледный отсвет одеяла играл на подбородке.

– А уж с вашим-то телом, Мерсо, – сказал он, – только жить да жить – и быть счастливым. Это ваш единственный долг.

– Не смешите меня, – отозвался Мерсо. – С моим телом! Да я по восемь часов в день торчу в конторе. Ах, если бы я был свободен!

За разговором он разгорячился и, как это с ним иногда бывало, ощутил прилив надежды, особенно сильный сегодня, когда чувствовал поддержку. Наконец-то он мог кому-то довериться и тем самым обрести веру в себя. Малость успокоившись, он принялся гасить сигарету, ломая ее в пепельнице, и продолжал не спеша:

– Несколько лет назад передо мной было открыто все, со мной говорили о моей жизни, о моем будущем. Я со всеми соглашался. И даже делал то, что от меня требовали. Но уже тогда все это было мне чуждо. Стушеваться, стать безличным – вот чего мне хотелось. Отказаться от такого счастья наперекор всему. Я туманно выражаюсь, но ведь вы меня понимаете, Загрей.

– Да, – отозвался тот.

– И даже теперь, будь у меня время... Только бы вырваться на свободу. А все остальное – это так, вроде дождичка, что поливает камни. Освежило, ну и прекрасно. Пройдет день – и они раскалятся от солнца. Мне всегда казалось, что счастье – оно такое и есть.

Загрей скрестил руки. В наступившей тишине казалось, что дождь припустил еще

сильнее; разбухшие тучи слились в одну непроницаемую пелену. В комнате чуть потемнело, словно небеса сбросили в нее свой груз сумрака и тишины. И калека увлеченно заговорил:

– У каждого тела – тот идеал, которого оно заслуживает. Чтобы выдержать, так сказать, идеал булыжника, нужно обладать телом полубога.

– Это верно, – проронил слегка удивленный Мерсо, – только не стоит преувеличивать. Я много занимаюсь спортом, вот и все. Да к тому же неумерен в похоти.

Загрей задумался.

– Так-так, – сказал он наконец. – Что ж, тем лучше для вас. Осознавать пределы своих телесных возможностей – в этом и состоит подлинная психология. Впрочем, все это неважно. У нас нет времени, чтобы стать самим собой. Его хватает лишь на то, чтобы быть счастливым. А не хотите ли вы, кстати, пояснить мне вашу мысль о безличности?

– Нет, не хочу, – сказал Мерсо и умолк.

Загрей отпил глоток чая, отставил в сторону еще полную чашку. Он потреблял совсем мало жидкости, чтобы реже мочиться. Усилием воли он почти всегда ухитрялся ослабить гнет унижения, которое нес ему каждый новый день. «Малых достижений не существует, – сказал он как-то Мерсо, – это такой же рекорд, как все остальные». Несколько дождевых капель угодило в дымоход. Горящие поленья зашипели. Дождь еще сильнее захлестал по стеклам. Где-то хлопнула дверь. По дороге напротив дома пронеслись машины, похожие на лоснящихся крыс. Одна из них протяжно просигналила; гулкий и зловещий звук, разнесшись по долине, словно бы раздвинул сырые пространства мира, так что даже воспоминание о нем стало для Мерсо составной частью тишины и тоски этих ненастных небес.

– Вы уж простите меня, Загрей, – сказал он, – но о некоторых вещах я так давно не заводил разговора, что и не знаю, как начать. Посмотришь на собственную жизнь, на ее тайный смысл – и в тебе закипают слезы. Как в этом небе. Ведь оно – и дождь, и солнце, и полдень, и полночь. Ах, Загрей! Я думаю о тех губах, которые мне довелось целовать, о бедном ребенке, которым я был, о безумии жизни и о честолюбивых замыслах, которые порой мною овладевают. Все это, вместе взятое, и есть мое «я». Уверяю вас, в моей жизни бывают моменты, когда вы просто не узнали бы меня. Чрезмерность горя, неохватность счастья – вот мой удел, только выразить это я не умею.

– Иными словами, вы играете несколько партий сразу?

– Да, но отнюдь не по-любительски, – запальчиво бросил Мерсо. – Всякий раз, когда я думаю о таящемся во мне переплетении горя и радости, я с восторгом сознаю, что га партия, которую я сейчас играю, – самая серьезная, самая волнующая из всех.

Загрей улыбнулся.

– Стало быть, у вас есть какая-то цель?

– Устроить свою жизнь – вот моя цель, – резко бросил Мерсо. – Да только этому мешает работа, те восемь часов в день, которые так легко даются другим.

Он замолчал и прикурил сигарету, которую давно уже разминал между пальцами.

– И все же, – продолжал он, еще не успев погасить спичку, – у меня хватает и силы и терпения... – Он дунул на спичку и сломал ее обугленный кончик на тыльной стороне ладони. – Я хорошо знаю, до какой жизненной ступени смогу добраться. Я не собираюсь превращать свою жизнь в опыт. Я сам стану опытом своей жизни... Да, я отлично понимаю, что за страсть может по-настоящему распалить меня. Раньше я был чересчур молод. Во всем держался золотой середины. А теперь понял, что действовать, и любить, и страдать – это и значит жить по-настоящему, но лишь в той мере, в какой твоя душа, став совершенно прозрачной, принимает судьбу как слитный отсвет радужного спектра радостей и страстей, неизменного для всех нас.

– Согласен, – сказал Загрей, – но ведь вы не можете так жить, продолжая ходить на службу...

– Конечно, не могу, потому что постоянно бунтую, а это из рук вон плохо.

Загрей промолчал. Дождь утих, но вместо туч небо заволочла ночь, и комната почти совсем погрузилась в потемки. Только отблески огня играли на лицах калеки и Мерсо. После долгой паузы Загрей, взглянув на гостя, начал было: «Да, много же горя ждет тех, которые вас любят...», – и тут же запнулся, озадаченный внезапным порывом Мерсо, который гневно бросил, повернув лицо в темноту:

– Их любовь ни к чему меня не обязывает!

– Это верно, – согласился Загрей, – но я лишь сказал, что думаю. Настанет время – и вы окажетесь одиноким, только и всего, но присядьте-ка и послушайте меня. То, что вы сказали, меня поразило. Особенно одна вещь, потому что она подтверждает все, чему меня научил мой человеческий опыт. Я вас очень люблю, Мерсо. Отчасти потому, что у вас такое тело. Именно оно и подсказало вам все это. Теперь мне кажется, что я могу с вами говорить совершенно откровенно.

Мерсо присел, его лицо озарилось красноватыми отблесками уже потухающего огня. Внезапно в прямоугольнике окна, за шелковыми занавесками, в ночи, почувствовалось что-то вроде прогалины. Что-то росло и ширилось за стеклами. В комнату проник молочный отсвет, и Мерсо ощутил на ироничных и безмолвных губах бодисатвы, на узорной марокканской бронзе лунный и звездный взгляд ночи, чей привычный и в то же время неуловимый лик он так любил. Ночь сбросила облачный наряд и лучилась теперь во всем своем спокойном сиянии. Машины на дороге бежали не так быстро. В глубине долины внезапно раскричались готовящиеся ко сну птицы. Перед домом слышались шаги, и каждый звук в этой ночи, пролитой над миром словно молоко, разносился гулко и ясно. В комнате рдел камин, пульсировал будильник, жили непостижимой жизнью обычные вещи, и все это сливалось в зыбкую поэтическую атмосферу, как бы помогаая Мерсо доверчиво и дружески воспринимать исповедь чужого сердца. Он откинулся на спинку кресла и, глядя в небо, выслушал странную историю Загрея.

– Я уверен, – начал тот, – что счастье без денег невозможно. Только и всего. Я не признаю ни легких путей, ни дешевой романтики. Я привык смотреть правде в глаза. Так вот, я заметил, что кое-кто из нашей элиты страдает своего рода духовным снобизмом: они думают, будто деньги совсем необязательное условие для счастья. А это глупая, неверная и в какой-то мере трусливая точка зрения.

Видите ли, Мерсо, человеку, родившемуся в приличных условиях, быть счастливым не так уж сложно. Стоит лишь принять свою судьбу, но стремясь при этом не к самоотречению, как делают иные из людей, несправедливо почитаемых великими, а к счастью. Но для того, чтобы стать счастливыми, нужно время. Много времени. Счастье само по себе есть род долготерпения. Мы чаще всего тратим жизнь на то, чтобы заработать деньги, тогда как нам необходимы деньги, чтобы выиграть время. Вот в чем заключается единственная проблема, которая меня всю жизнь интересовала. Вполне определенная, ясная проблема.

Загрей помолчал, закрыв глаза. Мерсо упорно смотрел в небо. Когда шум дороги и звуки, доносившиеся из долины, стали отчетливей, Загрей не торопясь продолжил речь:

– О, я прекрасно понимаю, что большинство богачей лишены какого бы то ни было чувства счастья. Но ведь вопрос не в этом. Иметь деньги – значит иметь время. Я исхожу только из этого. Время покупается. Все покупается. Родиться или стать богатым – значит иметь время, чтобы быть счастливым, если только ты достоин им быть. – Он взглянул на Патриса. – В двадцать пять лет, Мерсо, я уже понял, что любой человек, наделенный чувством счастья, волей к счастью и потребностью счастья, имеет право быть богатым. Потребность счастья кажется мне самым благородным стремлением человеческого сердца. На мой взгляд, все им оправдано. Только было бы это сердце чистым.

Не отводя глаз от Мерсо, Загрей заговорил еще медленнее, холодным и жестким голосом, словно хотел развеять оцепенение, овладевшее Патрисом.

– Я начал сколачивать капитал в двадцать пять лет. Не останавливался перед

жюльничеством. Да и ни перед чем не остановился бы. И года через три-четыре обратил все свое состояние в наличные деньги. Около двух миллионов, Мерсо, вы только представьте себе. Весь мир открывался передо мной. И вместе с ним – та жизнь, о которой я страстно мечтал в одиночестве... – Помолчав немного, Загрей продолжал чуть тише: – Ах, Мерсо, что за жизнь была бы у меня, если бы не этот несчастный случай, в результате которого я остался без ног. Сразу же все оборвалось. Я ничего не успел завершить... А теперь и говорить об этом нечего. Вы же понимаете, что вовсе не к такой ущербной жизни я стремился. И вот уже двадцать лет мои деньги без толку лежат здесь, под рукой. Я жил очень скромно. Почти ничего не истратил. – Он коснулся руками век и произнес еще тише: – Нельзя мараить жизнь поцелуями калеки.

Потом раскрыл небольшой сундучок, стоявший у камина, и показал массивную шкатулку вороненой стали с торчащим из нее ключом. Белый конверт и тяжелый черный револьвер лежали на крышке шкатулки. Перехватив любопытный взгляд Мерсо, Загрей ответил ему улыбкой. Как все это просто! В те дни, когда он с особенной силой ощущал трагедию, лишившую его настоящей жизни, он клал перед собой это недатированное письмо, в котором говорилось о его желании умереть, потом приставлял револьвер ко лбу, терся о его дуло висками, остужал стальным холодом лихорадочно пылавшие щеки. И подолгу сидел вот так, проводя пальцами по спусковому крючку и поигрывая курком до тех пор, пока все вокруг не затихало, а сам он, погружаясь в дремоту, всем своим существом не сливался с этой ледяной солоноватой железкой, из которой в любой миг могла грянуть смерть. При мысли о том, что стоит лишь поставить дату и выстрелить, испытав абсурдную легкость смерти, его воображение тотчас развертывало перед ним весь ужас отречения от жизни, и, задремывая, он уносил с собой в полусон свою тягу к одинокому и мужественному горению. А потом, внезапно проснувшись с горькой слюной во рту, он лизал ствол револьвера, совал в него язык и хрипел от невозможного счастья, счастья жизни.

– Что поделаешь, жизнь моя не удалась. Но тогда я рассуждал правильно: все ради счастья, вопреки миру со всей его глупостью, со всем его насилием. – Засмеявшись, Загрей добавил: – Видите ли, Мерсо, вся низость и жестокость нашей цивилизации выражена в пошлейшем афоризме: «У счастливых народов нет истории».

Было уже очень поздно. Но Мерсо потерял счет времени. Голова у него гудела от лихорадочного возбуждения. Во рту горело и саднило от выкуранных сигарет. Он все еще держался подальше от света. В первый раз за все это время посмотрев в сторону Загрея, он сказал:

– Кажется, я понял.

Утомленный своим долгим рассказом, калека тяжело дышал. И все-таки нашел в себе силы выговорить:

– Я хотел бы удостовериться во всем этом. Я вовсе не считаю, что в деньгах счастье. А только думаю, что для некоторых людей счастье возможно – при том условии, что у них есть время, – и что иметь деньги значит освободиться от них.

Он съехался в кресле под одеялом. Ночь сомкнулась над ними, и теперь Мерсо почти не видел его. Наступила долгая пауза, и наконец Патрис, желая продолжить разговор, убедиться в том, что его собеседник все еще здесь, сказал, как бы наугад:

– Игра стоит свеч.

– Да, – глухо отозвался Загрей. – Только на карту лучше ставить эту жизнь, а не иную. Со мной, разумеется, все обстоит иначе.

«Он – конченный человек, – подумал Мерсо. – Совершенный нуль». Загрей продолжал:

– Вот уже двадцать лет как мне не было дано испытать счастья. Я так и не узнал как следует пожирающую меня жизнь, а в смерти меня ужасает то, что она лишь подтвердит: моя жизнь была прожита без меня. Я остался на ее задворках, понимаете?

И тут же из темноты раздался звонкий смех:

– Это значит, Мерсо, что, в сущности, даже в моем положении еще есть надежда.

Мерсо шагнул к столу:

– Подумайте обо всем этом, – сказал Загрей, – подумайте хорошенько.

Вместо ответа Мерсо спросил:

– Не включить ли свет?

– Если не трудно.

Свет лампочки отразился в выпуклых глазах Загрея, покрыл бледностью крылья его носа. Он тяжело дышал. Когда Мерсо протянул ему руку, он замотал головой и преувеличенно громко рассмеялся.

– Не принимайте меня слишком всерьез. Меня, знаете ли, всегда раздражала трагическая мина, с которой люди смотрят на мои обрубки.

«Он смеется надо мной», – подумал Мерсо.

– Воспринимайте трагически только счастье. Подумайте об этом хорошенько, Мерсо, ведь у вас чистое сердце. Подумайте об этом. – Загрей посмотрел в глаза собеседника и чуть погодя добавил: – К тому же, у вас еще и пара ног, а это делу не повредит.

Он улыбнулся и дернул за сонетку:

– Мне, знаете ли, пора справить малую нужду.

V

Вернувшись тем воскресным вечером и даже не успев войти в комнату, Мерсо – все его мысли еще вертелись вокруг Загрея – услышал, что в комнате бочара кардоны кто-то всхлипывает. Он постучал. Ему не ответили. Скулеж продолжался. Тогда он, не раздумывая, вошел. Свернувшись на кровати, бочар плакал, громко икая, совсем как ребенок. В ногах у него лежала фотография какой-то старухи.

– Она умерла, – через силу объявил он Патрису.

Так оно и было, только уж больно давно все это случилось.

Бочар был человек жестокий и грубый, а к тому же глухой, да и языком еле ворочал. Одно время он жил с сестрой, но в конце концов, устав от его злобы и самодурства, она сбежала от него к своему сыну. И он остался один как перст, совершенно выбитый из колеи, – ведь ему впервые в жизни пришлось самому вести хозяйство и стряпать. Встретив как-то раз Мерсо на улице, сестра поведала ему об их ссорах. Бочару было в ту пору тридцать, ростом он не удался, но был довольно смазлив. С детства жил с матерью. Она была единственным человеком, внушавшим ему какое-то суеверное, ни на чем не основанное почтение: он любил ее всей своей дикарской душой, то есть восторженно и в то же время грубо: лучшим доказательством этого чувства была изобретательность, с которой он изводил бедную старушку, осыпая в ее присутствии мерзкой бранью священников и Церковь. Он так держался за материн подол еще и потому, что ни одна женщина до сих пор не обратила на него серьезного внимания. Тем не менее он считал себя мужчиной, поскольку у него бывали все-таки редкие любовные похождения, а кроме того он заглядывал в публичный дом.

И вот мать умерла. Мерсо сдал ему комнату, где тот поселился вместе с сестрой. Так они и мыкались одни-одинешеньки, карабкались кое-как по своей грязной и черной жизни. Говорить между собой им было почти не вмоготу, так что они целыми днями играли в молчанку. А потом сестра не выдержала и сбежала. Гордость не позволяла ему жаловаться, просить, чтобы она вернулась: он зажил совсем один. Завтракал в ресторанчике, а вечером пробавлялся колбасой. Сам стирал себе белье и синие рабочие блузы. Но комнату запустил донельзя. В первое время, по выходным дням, пытался еще взять тряпку и навести хоть видимость порядка. Но какая-нибудь засаленная кастрюля, торчащая на каминной полке, которую раньше украшали цветы и

безделушки, сводила на нет все его старания и лишь подчеркивала полную запущенность в доме. Навести порядок значило для него только хоть как-нибудь скрыть беспорядок, запихнуть вещи за диванные подушки и разложить на буфете коллекцию всевозможного хлама. Но даже это стало ему со временем не под силу, он перестал менять простыни и спал вместе со своей собакой на грязном и вонючем одеяле.

Его сестра говорила Мерсо:

– Сидя в кафе, он хорохорится. Но хозяйка сказала мне, что видела, как он обливался слезами, стирая белье.

Да, каким бы скотом ни был этот человек, но и его временами охватывала жуть, заставляя постигать всю пропасть своего одиночества. Сестра в свое время опекала его только из жалости, – так она и призналась Мерсо. А брат мешал ей встречаться с человеком, которого она любила. В их годы, разумеется, это не имело большого значения, да к тому же он был женат. Все его ухаживания сводились к тому, что он дарил ей букет полевых цветов, приносил пару апельсинов или бутылку ликера, выигранные на ярмарочных аттракционах. Он был некрасив, но с лица, как говорится, воду не пить, а вот человеком он был очень славным. И потому они изо всех сил держались друг за друга. А разве это не любовь? Она стирала ему белье, старалась держать его в чистоте. Он любил повязывать шею сложенным вдвое платком, она следила за тем, чтобы платки эти сияли белизной, и это была одна из ее радостей.

А брату совсем не хотелось, чтобы она принимала дружка у себя. И им приходилось встречаться тайком. Однажды брат застал их вдвоем и устроил страшный скандал. Сложенный треугольником платок остался после их ухода валяться в грязном углу. Сестра сбежала к сыну. Мерсо вспомнил об этом, глядя на запущенную комнату.

Поначалу одиночество бочара все-таки вызывало жалость. Он говорил Мерсо о том, что хотел бы жениться. Избранница была много старше его: прельстилась, наверное, надеждой на ласки молодого и дюжего парня... Надежды ее сбылись еще до свадьбы, а через некоторое время жених отказался от былых планов, заявив, что она чересчур стара для него. Он был совсем одинок в своем незавидном жилище. Мало-помалу грязь осадила его, пошла на приступ, забралась в постель, и, наконец, он просто потонул в ней. Его жилище стало омерзительным. А для бедняка, которому не в радость собственный угол, всегда готов другой дом – доступный, богатый, ярко освещенный, приветливый: это кафе. На окраине эти заведения выглядят особенно оживленными. В них царит та стадная теплота, которая кажется последним спасением от ужасов одиночества, от его темных порывов. Глухой бочар отыскал там себе пристанище. Мерсо видел его за столиком каждый вечер: он старался вернуться домой как можно позже. Только там он обретал свое место среди людей. Но в этот вечер ему, наверное, не хватило обычной порции. Вернувшись домой, он вытащил фотографию матери, стараясь с ее помощью разбудить отзвуки мертвого прошлого. Снова побыть с той, которую так любил, над которой так потешался. В этом гнусном углу, наедине с бессмысленной жизнью, он из последних сил старался воскресить прошлое, которое и было его счастьем. Должно быть, это ему удалось, потому что от столкновения прошлого с жалким настоящим брызнула искра божья – и бедняга залился слезами.

Мерсо растерялся, как это бывало с ним всякий раз при виде неприкрытого проявления человеческого горя, и в то же время почувствовал уважение к этой тупой боли. Он сел на грязное скомканное одеяло, положил руку на плечо Кардоны. Перед ним на покрытом клеенкой столе в беспорядке громоздились спиртовка, бутылка с вином, хлебные корки, кусок сыра, ящик с инструментами. Потолок был затянут паутиной. Мерсо, ни разу не заглянувший в эту запущенную комнату с тех пор, как похоронил мать, мог теперь судить о пути, пройденном за это время Кардоной. Окно, выходящее во двор, было захлопнуто. Другое – чуть приоткрыто. Керосиновая лампа с абажуром из миниатюрных игральные карт бросала спокойный круглый отсвет на стол, на ноги Мерсо и Кардоны, на стул, чуть отодвинутый от противоположной стены. Тем временем Кардона схватил карточку, впился в нее взглядом и принялся ее целовать, косноязычно приговаривая:

– Бедная мама.

Но было ясно, что ему жалко не ее, а себя самого. Она-то уже успокоилась на мерзком кладбище, в другом конце города. Мерсо знал это место.

Он собрался уходить. Но перед тем произнес, отчетливо выговаривая слова, чтобы глухой понял его:

– Так жить – нельзя.

– Я остался без работы, – с трудом произнес бочар и, протягивая Патрису карточку, добавил сдавленным голосом:

– Я ее любил.

«Она меня любила», – понял его Мерсо.

– Она умерла.

«Я остался один», – понял его Мерсо.

– Это я ей сделал к празднику, – продолжал Кардона, указывая на каминную полку, где стоял игрушечный деревянный бочонок с медными обручами и блестящим краником.

Мерсо отпустил его плечо, и бочар повалился на засаленные подушки. Из-под кровати донесся глубокий вздох, пахнуло жутким зловонием, затем оттуда медленно вылез длинноухий костлявый пес и положил на колени Мерсо морду с золотистыми глазами. Мерсо уставился на бочонок. Сидя в этой запущенной комнате, вслушиваясь в натужное дыхание бочара, чувствуя под пальцами теплоту собачьей шерсти, он пытался справиться с отчаянием, которое впервые за много дней нарастало в нем словно морской прилив. «Нет», – говорило его сердце безнадёжности и одиночеству. И, противясь великой тоске, заполнившей все его существо, Мерсо чувствовал, что единственной подлинной силой в нем был бунт, а все остальное – это лишь суета и самолюбование. Улица, кипевшая вчера жизнью под его окнами, все еще пузырилась звуками. От садов под террасой поднимался запах трав. Мерсо протянул Кардоне сигарету, они молча закурили. Прошли последние трамваи, полные еще живых воспоминаний о людях, о солнечном свете. Кардона прикорнул на кровати и скоро захрапел, пошмыгивая отсыревшим от слез носом. Пес, свернувшийся клубком у ног Мерсо, иногда подергивался и повизгивал во сне. При каждом его движении Патриса обдавало запахом псины. Он прислонился к стене, сиюсь подавить бунт, разгоравшийся в сердце.

Лампа чадила, коптила и наконец погасла, наполнив комнату удушливой гарью. Мерсо задремал, а проснувшись, тупо уставился на пустую винную бутылку. Через силу поднялся, подошел к окну и замер. Молчаливый зов несся к нему из сердцевины ночи. Где-то на дремотных окраинах мира протяжно прогудела корабельная сирена, призывая людей к отплытию и новым свершениям.

На следующий день Мерсо убил Загрея, вернулся к себе и проспал всю вторую половину дня. Проснулся он в лихорадке. И вечером, не вставая с постели, попросил позвать к себе врача, который обнаружил у него простуду. Потом к нему заглянул посыльный из конторы, справился о здоровье и отправился восвояси, прихватив заявление с просьбой об отпуске. Через несколько дней в газетах появились заметки о смерти Загрея, о ходе расследования. Его самоубийство казалось вполне оправданным. Марта, пришедшая проведать Мерсо, сказала со вздохом:

– Порой мне хотелось бы оказаться на его месте. Но иной раз нужно больше мужества для того, чтобы жить, чем для того, чтобы покончить с собой.

А еще через неделю Мерсо отплыл в Марсель, объявив всем знакомым, что хочет отдохнуть во Франции. Марта получила от него письмо из Лиона с сообщением о разрыве, но не испытала при этом известии ничего, кроме укола самолюбия. Одновременно он сообщил, что ему предложили необычайно выгодную должность где-то в центральной Европе. Марта ответила ему письмом до востребования, полным сожалений и боли. Но оно так и не дошло до Мерсо, который тут же по приезде в Лион почувствовал новый приступ болезни и поспешил сесть в поезд, идущий в Прагу. Между прочим, в том же письме говорилось, что тело Загрея, много дней пролежавшее в морге, было наконец-то предано земле и что потребовалось несколько подушек, чтобы заполнить пустоту в гробу.

Часть вторая

СОЗНАТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ

I

– Я хотел бы снять номер, – сказал приезжий по-немецки, глядя куда-то в сторону.

Портье стоял у доски, увешанной ключами, широкий стол отделял его от вестибюля гостиницы. Он внимательно посмотрел на приезжего в мешковатом сером плаще.

– Разумеется, сударь. На одну ночь?

– Нет. Не знаю.

– У нас есть номера по восемнадцать, двадцать пять и тридцать крон.

Мерсо смотрел сквозь застекленную дверь на узенькую пражскую улочку. Руки в карманах, волосы на непокрытой голове взлохмачены. Неподалеку, на бульваре короля Венцеслава, скрежетали трамваи.

– Какой же номер вам угодно, сударь?

– Все равно какой, – отозвался Мерсо, не отрывая глаз от двери. Портье снял с доски ключ и протянул его постояльцу.

– Номер двенадцать.

Мерсо словно очнулся от забытья.

– А сколько это стоит?

– Тридцать крон.

– Слишком дорого. Я бы хотел за восемнадцать.

Портье, не говоря ни слова, протянул ему другой ключ с медной звездочкой, на которой значилось: «Комната № 34».

Оказавшись в номере, Мерсо снял пиджак, слегка ослабил галстук и машинально завернул рукава рубашки. Подошел к висевшему над умывальником зеркалу. Оттуда на него взглянул человек с осунувшимся, чуть загорелым лицом, покрытым многодневной щетиной. Растрепавшиеся в поезде волосы падали на лоб, где глубокие морщины меж бровей придавали взгляду серьезное и трогательное выражение, поразившее его самого. Только теперь он решил наконец осмотреться в этом жалком номере, его единственном пристанище, за пределами которого у него ничего не было. На омерзительных обоях с крупными желтыми цветами по серому полю расплылись грязные пятна: настоящая географическая карта страны, которая называется нищетой. Сор и паутина за огромной батареей центрального отопления. Разбитый выключатель с торчащими из него медными контактами. Засаленный, усеянный дохлыми мухами шнур над кроватью, с которого свисает липкая лампочка без абажура. Только постельное белье оказалось, как ни удивительно, чистым. Мерсо раскрыл чемодан и принялся расставлять на умывальнике туалетные принадлежности. Потом решил было вымыть руки, но, передумав, закрутил кран и, подойдя к окну без занавесок, распахнул его. Оно выходило на задний двор с водоразборной колонкой и на стену с подслеповатыми окошками. В одном из них сушилось белье. Мерсо лег и тотчас заснул. Проснувшись в поту, весь разбитый, он какое-то время бесцельно кружился по комнате. Потом закурил сигарету, сел и принялся тупо разглядывать складки на измятых брюках. Во рту скопилась горечь сна и табака. Почесывая себе подмышки, он снова оглядел комнату, и ему чуть не стало дурно от такого запустения и одиночества. Все осталось где-то там, позади, даже его болезнь, а здесь, в этом номере – только ясное ощущение абсурдности и ничтожности любой человеческой жизни, даже самой благополучной. Но вслед за этим ощущением – стыдливое и смутное чувство свободы, родившееся из сомнений и опасений. Само время, став мягким и влажным, хлюпало вокруг него словно болотная тина.

В дверь громко постучали, и, оторвавшись от своих мыслей, Мерсо вспомнил, что проснулся – то он, оказывается, от точно такого же стука. Он открыл дверь: на пороге стоял маленький старикашка с рыжей щетиной на щеках, сгибавшийся под тяжестью двух чемоданов, которые на его спине казались особенно огромными. Он задыхался от усталости и раздражения, сыпал ругательствами и проклятиями, брызгал слюной, обнажая редкие гнилые зубы. И тут Мерсо вспомнил, что у самого большого чемодана давно уже оторвалась ручка, так что тащить его было сущее наказание. Он хотел извиниться, он ведь не рассчитывал, что носильщик окажется таким старым, но запаса слов у него не хватило. Старичок перебил его:

– С вас четырнадцать крон.

– За один день хранения? – удивился Мерсо.

Из дальнейших долгих переговоров выяснилось, что старикашке пришлось взять такси. У Мерсо не хватило духу сказать, что в таком случае он мог бы это сделать и сам; он только пожал плечами и расплатился. Когда дверь за стариком захлопнулась, Мерсо почувствовал, что в его груди закипают непонятно чем вызванные слезы. Где-то совсем близко пробило четыре часа. Стало быть, он спал совсем недолго. Теперь он понял, что только стоящий напротив дом отделял его от улицы, где текла, набухая и вспучиваясь, таинственная чужая жизнь. Не мешало бы взглянуть на нее. Мерсо принялся мыть руки, он делал это долго и основательно. Потом присел на край кровати и так же методично стал приводить в порядок ногги. Два или три автомобильных гудка, донесшихся со двора, прозвучали так неожиданно и резко, что Мерсо снова подошел к окну. И тут он заметил крытый переход, ведущий из дома на улицу. Ему показалось, что весь уличный гомон, вся неведомая жизнь по ту сторону окрестных домов, голоса людей, которые где-то живут, имеют семьи, с кем-то ссорятся или мирятся, играют по вечерам в преферанс, болеют или выздоравливают, гул человеческого муравейника, населенного существами, чьи сердца не хотят биться в лад с чудовищным сердцем толпы, – все эти звуки текли по переходу, разливались по двору и, взмывая высь, словно мыльные пузыри, лопались у него в комнате. Мерсо чувствовал себя таким открытым, таким чутким к малейшему движению извне, будто в нем самом раскрылась глубокая скважина, связывающая его с жизнью. Он закурил новую сигарету и принялся с лихорадочной поспешностью одеваться. Когда застегивал пиджак, глаза у него защипало от дыма. Он промыл их из умывальника, а заодно решил причесаться. Но расческа куда-то пропала. Волосы были всклокочены после сна, ему так и не удалось их пригладить. Он сошел вниз, смирившись и с прядями, свисающими на лицо, и с вихрами на затылке. Ему показалось, что и весь он как-то съежился, стал меньше ростом. Выйдя на улицу, он обошел вокруг гостиницы, чтобы найти тот переход, который заметил из окна. Он вел на площадь старой ратуши, чьи готические шпили четко вырисовывались в небе по соседству с древней Тынской церковью. Вечер, опустившийся над Прагой, был немного душноват. По улочкам, обнесенным арками, сновали толпы людей. Мерсо ждал, что хоть одна из проходящих мимо женщин бросит на него взгляд, который доказал бы ему, что он еще способен участвовать в той сложной и тонкой игре, что называется жизнью. Но люди, находящиеся в добром здравии, ловко делают вид, будто не заметили устремленного на них лихорадочного взгляда. Плохо выбритый, непричесанный, в жеваных брюках, с глазами загнанного зверя, Мерсо утратил ту волшебную самоуверенность, которую придает человеку хороший костюм или шикарный автомобиль. Небо понемногу бронзовело, но солнечные лучи еще играли на золоте барочных куполов в глубине площади. Мерсо направился к одному из них, вошел в церковь и, задохнувшись от спертого воздуха, присел на скамью. Свод тонул в полном мраке, но с позолоченных капителей по желобкам каннелюр стекали волшебные светоносные струйки, омывая лица толстощеких ангелов и ухмыляющихся святых. Да, здесь царила кротость, но она была столь горькой, что Мерсо бросился к выходу и, еще стоя на ступеньках, полной грудью вобрал в себя свежий воздух ночи, куда ему предстояло погрузиться. Мгновение спустя он увидел, как первая звезда, нагая и чистая, засияла между шпилями Тынской церкви.

Он пустился на поиски дешевенького ресторанчика, пошел наугад по темным и малолюдным теперь улочкам. Хотя дождя днем не было, мостовая оставалась сырой, и ему пришлось то и дело огибать черные лужицы среди неровного бульжника. А потом и впрямь заморосил мелкий дождик. Оживленные улицы находились теперь где-то недалеко, с них уже доносились сюда выкрики газетчиков, продающих «Народную политику». А Мерсо все крутился по кругу. Внезапно он остановился. Из недр ночи до него долетел странный запах. Острый, чуть кислотный, он щекотал ноздри, щипал язык и глаза. Сначала он казался далеким, а потом, на углу, словно по волшебству, пахнул прямо в лицо. Мерсо двинулся на этот запах по грязной и

скользкой мостовой, и с каждым шагом тот становился все ощутимей, заполнял всю округу, все сильнее щипал глаза, и без того уже полные слез. Наконец Мерсо увидел старуху, продававшую маринованные огурцы: они-то и были источником этого одуряющего запаха. Какой-то прохожий остановился и купил огурец, который старуха завернула ему в бумажку. Поравнявшись с Мерсо, он развернул ее и впился зубами в зеленую мякоть, из которой брызнул пахучий сок. Почувствовав тошноту, Мерсо прислонился к столбу и долго пытался отдышаться, впивая в себя всю странную атмосферу этого мира, где он чувствовал себя таким одиноким. Потом двинулся дальше и, не раздумывая, зашел в первый попавшийся кабачок, откуда доносились звуки аккордеона. Спустившись на несколько ступенек, он помедлил на середине лестницы, а потом шагнул дальше и очутился в темноватом погребе, освещенном красноватыми отблесками. Должно быть, у него был довольно странный вид, потому что звуки аккордеона стали глуше, разговоры смолкли и все посетители обернулись в его сторону. В углу ужинала девица, шевеля чересчур жирными губами. Кое-кто пил темное и сладковатое чешское пиво. Многие просто курили, ничего не заказывая. Мерсо подошел к довольно длинному столу, за которым сидел всего один человек. Высокий, худой, рыжеватый, он скорчился на стуле, сунув руки в карманы, и с омерзительным хлюпаньем сосал потрескавшимися губами заслюнявленный обломок спички, иногда перебрасывая его из одного угла рта в другой. Когда Мерсо уселся рядом, он только плотнее прижался к спинке стула, нацелил спичку в соседа и чуть заметно прищурился. Присмотревшись, Мерсо увидел в его петлице красную звездочку.

Мерсо ел мало и торопливо, не ощущая голода. Аккордеон звучал теперь громче, а игравший на нем человек не сводил глаз с необычного посетителя. Мерсо дважды пытался вызывающе посмотреть в его сторону, выдержать его взгляд. Но слишком уж он ослаб от лихорадки. А музыкант все пялился на него. Внезапно одна из девиц громко расхохоталась, человек с красной звездочкой еще сильнее зашмыгал спичкой, на которой повисла капелька слюны, а музыкант, не отрывая глаз от Мерсо, оборвал танцевальный наигрыш и принялся выводить медленную, словно припорошенную пылью веков мелодию. В этот миг дверь распахнулась, пропуская нового посетителя. Мерсо не видел его, только почувствовал, как пахнуло острым запахом огуречного рассола. Этот запах разом наполнил весь мрачный погребок, смешался с таинственной мелодией аккордеона, и тут же капелька слюны на спичке начала разбухать, разговоры стали значительней и оживленней: казалось, что сам дух старой Праги, вынырнув из сонных ночных глубин, полных боли и злобы, заглянул в этот подвальчик, чтобы подышать здесь человеческим теплом. Мерсо, уже принявшийся за приторный мармелад, почувствовал, что какая-то сила внезапно отбросила его за пределы собственного существа, что открывшаяся в нем скважина растет и ширится навстречу людской тоске и горю. Он вскочил, подозвал официанта, ничего не понял из его объяснений, расплатился с ним чересчур щедро и, продолжая чувствовать на себе пристальный и неотрывный взгляд музыканта, пошел к выходу. Миновав аккордеониста, Мерсо заметил, что тот по-прежнему глядит на столик, за которым только что сидел он сам. Тут ему стало ясно, что этот человек – слепой. Он поднялся по ступенькам, распахнул дверь и, вдохнув напоследок стойкий запах огуречного рассола, двинулся по узким улочкам в глубь ночи.

Над домами сияли звезды. Где-то неподалеку струилась река: до Мерсо доносилось глухое и могучее пение воды. Очутившись перед решетчатой калиткой в толстой стене с высеченными на ней непонятными письменами, он понял, что находится в еврейском квартале. Над рекой нависали ивовые ветви, источавшие сладковатый аромат. Сквозь прутья калитки виднелись грузные бурые камни, утонувшие в густой траве. То было старое еврейское кладбище. Мерсо чуть не бегом бросился прочь и через несколько шагов оказался на Ратушной площади. Добравшись до своей гостиницы, он прислонился к стене, и здесь его мучительно вырвало. Сохраняя ту полную ясность сознания, что вызывается крайней слабостью, он без труда отыскал свой номер, повалился на кровать и тотчас уснул.

На следующий день его разбудили выкрики продавцов газет. Погода была по-прежнему сумрачной, но за облаками угадывалось солнце. Мерсо был еще слаб, но ему уже полегчало. Лишь мысль о бесконечном дне, который его ожидает, была невыносима. Когда живешь в полном одиночестве, время растягивается беспредельно и каждый час становится равным вечности. Прежде всего следовало подумать о том, как избежать болезненных припадков, подобных вчерашнему. Если уж осматривать город, то методично, по заранее составленному плану. Не сменив ночную пижаму на костюм, он уселся за стол и наметил себе распорядок прогулок на целую неделю. Монастыри и барочные церкви, музеи и старые кварталы – он постарался не упустить ничего. Потом умылся, заметил, что так и не купил себе расческу, и спустился вниз таким

же растрепанным и заспанным, как накануне. При дневном свете в глаза портье бросилась его взъерошенная шевелюра, растерянный вид и пиджак с оторванной пуговицей. Выйдя из гостиницы, он услышал по-детски трогательный наигрыш аккордеона. Вчерашний слепец сидел на корточках на углу старой площади, терзая мехи инструмента с таким блаженно-пустым выражением, словно он отрекся от самого себя, целиком вписавшись в течение жизни, неизмеримо превосходящей все его существо. У перекрестка Мерсо обернулся – и тут его снова настиг запах огуречного рассола, а сердце защемило от привычной тоски.

Этот день прошел точно так же, как и все остальные. Мерсо вставал поздно, осматривал монастыри и церкви, спускался в пропахшие ладаном подземелья, и, выйдя наружу, вновь и вновь испытывал тайный страх, который сочился из торчавших на каждом углу бочек с огурцами. Запах рассола преследовал его в музеях, где он постигал таинственную мощь барочного гения, заполонившего Прагу золотым великолепием. Золотистый свет, тихо струящийся по сумрачным алтарям, казался ему отражением отливающих медью пражских небес, сотканых из солнца и тумана. Глядя на завитки волют и розеток, на все это затейливое узорочье, словно бы слепленное из золоченой фольги и трогательно схожее с игрушечными рождественскими яслями, Мерсо прозревал в этой барочной грандиозности, гротеске и соразмерности подобие некоего лихорадочного, детски-наивного и велеречивого романтизма, с чьей помощью человек обороняется от собственных демонов. Бог, которому здесь поклонялись, требовал к себе страха и почтения, это был совсем не тот бог, который смеется вместе с человеком, следя за пылкими играми моря и солнца. Выйдя из-под сумрачных сводов, где застоялся тонкий запах праха и небытия, Мерсо снова ощущал себя бесприютным, лишенным родины скитальцем. Каждый вечер он навещал обитель на восточной окраине Праги. Там, в садике за монастырскими стенами, часы летели легко, словно голуби, нежный перезвон колоколов тонул в густой траве, а может быть, все это только мерещилось Мерсо, которого все еще изводила лихорадка. И он не замечал, как идет время. Наступал час, когда церкви и музеи уже закрыты, а рестораны еще не открывались. И этот час таил в себе угрозу. Мерсо гулял по берегам Влтавы, где в парках при свете догорающего дня гремели оркестры. От плотины к плотине сновали по реке парходики. Мерсо шагал вслед за ними, то оставляя позади оглушительный шум и кипение шлюза и мало-помалу погружаясь в безмятежную вечернюю тишину, то снова приближаясь к грохочущему перекату. Добравшись до очередной плотины, он останавливался, чтобы полюбоваться разноцветными лодками, которые пытались, не опрокинувшись, миновать опасное место, и дожидался того момента, когда одна из них все-таки одолевала бушующую стремнину. Но все эти потоки воды, словно несущие вниз по течению людской гомон, мелодии оркестров и аромат парков, все это речное раздолье, полное бронзовых отблесков вечеряющего неба вперемежку с тенями от статуй Карлова моста, – все это только обостряло в душе Мерсо болезненное и жгучее ощущение стылого одиночества, в котором нет места любви. Когда у него перехватывало дыхание от запаха влаги и листьев, он звал к себе слезы, но их не было. Сейчас ему было бы достаточно присутствия друга, его протянутой руки. И слезы застывали на границе того безжалостного мира, в который он был ввергнут. Иной раз по вечерам он переходил Карлов мост, чтобы погулять по Градчанам, пустынному и молчаливому кварталу высоко над рекой, всего в нескольких шагах от самых оживленных улиц. Он бродил среди огромных дворцов, по необъятным мощеным площадям, проходил вдоль кованых фигурных оград, огибал собор. Его шаги гулко отдавались в тишине меж высоких дворцовых стен. Только неясный шум доносился сюда из города. Здесь не торговали огурцами, но в самой этой тишине, в этом величии было что-то настолько гнетущее, что в конце концов Мерсо всякий раз спешил спуститься вниз, к запахам и мелодиям, с которыми уже успел сродниться. Ужинал он всегда в том самом кабачке, который открыл во время первой прогулки и с которым успел свыкнуться. У него даже появился собственный столик, который он делил с человеком, носившим в петлице красную звездочку. Тот появлялся только к вечеру, заказывал кружку пива и принимался слюнявить спичку. Чуть позже начинал играть слепой музыкант, и тогда Мерсо спешил проглотить ужин, расплатиться, вернуться в гостиницу и забыться там лихорадочным сном больного ребенка: жар не отпускал его ни на одну ночь.

Каждый день Мерсо начинал думать об отъезде, но его воля, к счастью, ослабленная одиночеством и безнадежностью, день ото дня сдавала все больше и больше. Он провел в Праге уже четверо суток, но так до сих пор и не купил себе расческу, об отсутствии которой вспоминал каждое утро. Он смутно ощущал, что ему чего-то не хватает, но не мог понять, чего именно. Как-то вечером он шел в кабачок по той самой улочке, где впервые почуял огуречный запах. И вот, когда он уже был готов уловить его снова, в двух шагах от ресторанчика что-то привлекло его внимание на

противоположной стороне улицы. Он остановился, потом подошел ближе. На тротуаре лежал человек, скрестив руки и касаясь асфальта левой щекой. Трое или четверо зевак стояли вокруг, прислонившись к стене, и, казалось, чего-то ждали, сохраняя полное спокойствие. Один из них курил, остальные тихонько переговаривались. Зато еще один, с пиджаком, перекинутым через руку, и в сбитой на затылок шляпе, отплясывал вокруг тела дикарский танец, гулко топоча ногами и отчаянно кривляясь. Сцену слабо озарял свет далекого уличного фонаря вперемежку с тусклыми отблесками из окон ресторанички. Зловещий контраст между недвижимым телом и бесконечной буйной пляской, между загадочным спокойствием зрителей и тревожной игрой света и тени был так силен, что на какой-то миг Мерсо почудилось, будто весь мир вокруг готов обрушиться в приступе безумия. Он шагнул еще ближе. Лицо покойника было залито кровью, она текла из раны на левом виске, прижатом к асфальту. В этом глухом пражском закоулке, на залитой жидким светом осклизлой мостовой, куда доносился сырой шелест проезжавших неподалеку автобусов и отчетливый, резкий скрежет дальних трамваев, сама смерть казалась какой-то двусмысленной и слащавой, и не ее ли вкрадчивый зов, не ее ли влажное дыхание почувствовал Мерсо, когда он, не оборачиваясь, быстро зашагал прочь? И только тут в ноздри емушибанул забытый запах рассола.

Он вошел в погребок, уселся за стол. Сосед был уже там, но без спички в зубах. Мерсо показалось, что взгляд у него какой-то растерянный. Но он поспешил отогнать от себя неожиданное и глупое подозрение. Все кружилось в его голове. Он не стал ничего заказывать, вскочил, помчался в гостиницу и рухнул на кровать. Что-то острое кололо и жгло висок. Кровь отхлынула от сердца, к горлу подступила тошнота, словно все его тело взбунтовалось против него. Перед глазами замелькали образы прошлого. Как ему не хватало сейчас нежных женских рук, жарких губ! Его лихорадило, из глубины мучительных пражских ночей, пропитанных запахом рассола, пронизанных незамысловатыми мелодиями, проступало тревожное лицо старого барочного мира. Еле переводя дыхание, глядя в пустоту ничего не видящими глазами, он сел на кровать; движения его были четкими, словно у автомата. Ящик ночного столика был выдвинут, там лежала какая-то английская газета. Он прочел от корки до корки целую статью и снова бросился на постель. Голова лежащего на мостовой мертвеца откинулась в другую сторону, открыв рану, в которую можно было сунуть пальцы. Он посмотрел на руки – и в нем зашевелились какие-то ребяческие желания. В груди закипал непонятный жар, набухали слезы, ему так хотелось снова очутиться в городах, полных солнца и женщин, вдохнуть прохладу зеленых вечеров, залечивающих все раны. Слезы хлынули рекой, словно где-то в глубине его существа прорвалась плотина одиночества и безмолвия, над которой реяла теперь печальная мелодия освобождения.

II

Сидя в поезде, увозящем его на север, Мерсо разглядывал свои руки. Поезд мчался под грозовым небом, увлекая за собой клубы низких и тяжелых облаков. Мерсо был один в душном вагоне. Он решился на отъезд внезапно, ночью, и вот теперь, оставшись наедине с наступающим пасмурным утром, впитывал в себя всю мягкую прелесть чешского пейзажа; от предчувствия дождя, готового пролиться над высокими шелковистыми тополями и дальними заводскими трубами, на глаза навертывались слезы. Мерсо взглянул на белую эмалевую табличку с надписью на трех языках: «Nicht hinauslehnen. E pericoloso sporgersi» [3 – Надписи на немецком и итальянском языках.]. Не высовываться». Потом снова перевел взгляд на руки, похожие на двух кровожадных зверей. Левая была длинной и гибкой, правая – жилистой и мускулистой. Он сознавал, что это всего-навсего его руки, и в то же время они казались ему самостоятельными существами, способными действовать помимо его воли. Вот одна из них прижалась ко лбу, словно отгоняя клокотавшую в висках лихорадку. Другая скользнула вдоль пиджака, нашарила в кармане сигарету и тут же отбросила ее, как только он почувствовал приступ тошноты. Потом они бессильно, ладонями вверх, упали на колени, и Мерсо принялся вглядываться в эти вогнутые зеркала, где отразилась вся его жизнь, исполненная теперь безразличия и готовая отдаться всякому, кто захочет ее взять.

Он провел в поезде двое суток. Но на сей раз его гнал вперед отнюдь не слепой инстинкт бегства. Он был заморожен самим однообразием движения. Вагон, в котором он пересек добрую половину Европы, как бы удерживал его на грани двух миров. Вчера он сел в него, завтра его покинет. А пока этот вагон уносил его прочь из той жизни, о которой он не хотел сохранить даже воспоминаний, стремясь навстречу новому миру, чьей единственной владычицей будет страсть. Во время поездки Мерсо

вовсе не скучал. Забившись в угол купе, где его почти никто не беспокоил, он смотрел то на руки, то на пейзаж за окном и размышлял. Он решил добраться до Бреслау и там найти в себе силы заглянуть на таможду и обменять билет. Ему хотелось еще хоть немного побыть лицом к лицу со свободой. Он так устал, что еле держался на ногах. И только нащупывал в себе крупинки сил и надежд, так и этот перебирал и ворошил их, стараясь переиначить самого себя, а заодно и свою дальнейшую судьбу. Ему полюбили нескончаемые ночи, когда состав, распластавшись на скользких рельсах, вихрем пронесился мимо полустанков, где светились только циферблаты часов, а потом резко тормозил на подъезде к россыпи огней большого вокзала, внезапно заливающего внутренность купе щедрым золотом, светом и теплом. Стучали по колесам молоточки обходчиков, паровоз фыркал, выпуская клубы пара, а затем механический жест диспетчера, опустившего красный диск, снова увлекал Мерсо в сумасшедший бег поезда, где вместе с ним бодрствовали только его бессонница и тревога. И снова купе превращалось в кроссворд света и тени, в скрещенье черноты и золота. Дрезден, Баутцен, Гёрлиц, Лигниц. И долгая ночь впереди, сколько угодно времени для того, чтобы наметить контуры будущей жизни, для терпеливой схватки с мыслью, которая внезапно вылетает из головы на повороте к очередному вокзалу, дразнит, мечется, летит перед составом по блестящим от дождя и света рельсам. Мерсо искал слово или целую фразу, в которых воплотилась бы надежда его измученного тревогой сердца. Он так был слаб, что искал опоры в четких формулировках. Вся ночь и весь день прошли в упорной борьбе с этим словом, с этим образом, от которого должен теперь зависеть его взгляд на жизнь, радостным или зловещим видением, в котором представало перед ним будущее. Он закрыл глаза. Для того, чтобы жить, нужно время. Как всякое произведение искусства, жизнь требует обдумывания. И пока Мерсо размышлял о жизни, его помраченная совесть и воля к счастью металась по тесному купе, которое в этот миг казалось ему тюремной камерой, где человек познает свою суть, силясь возвыситься над самим собой.

Наутро второго дня поезд заметно сбавил скорость, хотя вокруг тянулись одни только голые поля. До Бреслау оставалось еще несколько часов езды; заря занималась над бескрайней силезской равниной, где не видно было ни кустика, ни деревца, только липкая грязь под пасмурным, разбухшим от дождя небом. Насколько хватало глаз, повсюду носились стаи крупных черных птиц с глянцевыми от влаги крыльями, они медленно и тяжело кружили над самой землей, словно небо, грузное, как гробовая плита, не давало им подняться выше. Порой одна из них отрывалась от стаи, чиркала крыльями по земле, почти сливалась с нею и потом медленно и словно бы нехотя удалялась, превращаясь в черную точку на бледном рассветном небе. Мерсо протер ладонью запотевшее вагонное окно и стал жадно всматриваться в длинные косые прогалины, оставленные его пальцами. Меж скорбной землей и бесцветным небом высился образ скудного мира, где ему наконец-то было суждено обрести самого себя. Здесь, на этой равнине, погруженной в простодушное отчаяние, чувствуя себя странником, затерянным среди первобытного мира, он мало-помалу воскресал в себе былую привязанность к жизни и, стиснув кулаки, прижавшись лицом к стеклу, пытался наметить путь к самому себе, а заодно увериться в своих скрытых силах. Ему хотелось распластаться по этой земле, вывалиться в грязи, а потом встать во весь рост посреди бескрайней равнины, воздев заляпанные грязью руки к губчатому, томимому испариной небу, – встать живым символом безнадёжности и великолепия жизни, утверждая свою связь с миром, как бы отвратителен и неблагодарен тот ни был. Чудовищное напряжение последних дней наконец-то спало. Прикинув губами к холодному стеклу, Мерсо зарыдал. Окно снова затуманилось, равнина скрылась из глаз.

Несколькими часами позже он прибыл в Бреслау. Издалека город выглядел сплошным лесом фабричных труб и соборных шпилей, а вблизи оказался сложенным из кирпича и закопченных камней; по нему слонялись люди в каскетках с короткими козырьками. Он пошел вслед за ними, провел утро в рабочем кафе. Молодой парень играл там на гармонике; добродушные и тяжеловесно-глуповатые мелодии незаметно умиротворяли душу. Мерсо решил отправиться на юг, а перед этим купить себе расческу. На другой день он уже был в Вене. Завалился спать еще засветло и проспал всю ночь. Наутро он почувствовал, что его не лихорадит. Жадно проглотив на завтрак несколько яиц вкрутую и запив их свежими сливками, он, ощущая легкую тошноту, вышел на пронизанную утренним солнцем и омьгую дождем улицу. Вена оказалась обманчивым городом, смотреть в ней было нечего. Собор Святого Стефана, чересчур огромный, наваял на Мерсо скуку. Он предпочел ему кафе напротив, а ближе к вечеру отправился в небольшой дансинг на берегу канала. Днем он прогуливался по Рыночной площади, среди роскошных витрин и элегантных женщин. И какое-то время чувствовал себя просто великолепно среди легкомысленной и шикарной обстановки,

которая не дает человеку побыть наедине с самим собой в этом самом неестественном из всех городов мира. Но что и говорить, женщины там прекрасны, цветы в парках пышны и ярки, а вечером на Рыночной площади, в блестящей и безумной толпе, Мерсо вдоволь насмотрелся на спесивый разбег каменных коней, рвущихся с вершин монументов в багровое небо. Тогда-то он и вспомнил о своих приятельницах Розе и Клер. И в первый раз со времени отъезда решил засесть за письмо, излить на бумагу все накопившееся в нем молчание:

Детки мои,

я пишу вам из Вены. О вас ничего не знаю. Я разъезжаю по Европе, попутно зарабатывая себе на жизнь. Успел повидать много красот, но с тяжелым сердцем. А здесь красота уступила место цивилизации. Это так удобно. Я не хожу по церквам, не осматриваю древности, а просто слоняюсь по Рыночной площади. И когда над театрами и пышными дворцами спускается вечер, слепой порыв каменных коней на фоне багрового заката вселяет в мое сердце странную смесь горечи и счастья. По утрам я завтракаю яйцами вкрутую, запивая их свежими сливками. Встаю поздно, в гостинице ко мне относятся крайне предупредительно, прислуга здесь отлично вышколена, кухня выше всех похвал (особенно свежие сливки). Тут есть на что посмотреть, особенно хороши женщины. Не хватает только настоящего солнца.

А вы что поделяваете? Напишите о себе и о солнце бедному бесприютному страннику, вашему верному другу

Патрису Мерсо.

Закончив письмо, он отправился в дансинг, где тут же завязал знакомство с одной из профессиональных танцовщиц; ее звали Элен, она немного говорила по-французски и разбирала его дурной немецкий. В два часа ночи они покинули это заведение, он проводил Элен к ней домой, самым благопристойнейшим образом ублажил ее любовью, а утром обнаружил, что лежит голышом в чужой постели, рядом с женщиной, чьи стройные ноги и пышные плечи не возбудили в нем ничего, кроме платонического и добродушного восхищения. Не желая тревожить сон красавицы, он собрался уходить, а перед тем сунул в ее тужурку крупную купюру. Элен окликнула его, когда он был уже в дверях:

– Да ведь ты ошибся, милый!

Мерсо подошел к постели. Он и в самом деле дал маху. Плохо разбираясь в австрийской валюте, он оставил ей билет в пятьсот шиллингов, тогда как вполне хватило бы и сотни.

– Нет, нет, – сказал он, улыбаясь, – все правильно. Ты вела себя просто потрясающе.

Веснушчатое личико Элен, полускрытое спутанными русыми прядями, озарилось улыбкой. Она вскочила и расцеловала его в обе щеки. Этот поцелуй, единственный, которым она наградила его от чистого сердца, вызвал в душе Мерсо бурю эмоций. Он уложил девушку в постель, прикрыл одеялом и, помедлив у дверей, еще раз улыбнулся:

– Ну, а теперь прощай.

Она стрельнула в него глазками из-под натянутой до самого носика простыни, но не нашла что ответить.

Через несколько дней Мерсо получил ответ из Алжира:

Дорогой Патрис,

ваши детки обретаются сейчас в городе Алжире. И были бы счастливы вас повидать. Бесприютному страннику всегда найдется местечко в нашем Доме. Нам тут хорошо.

Капельку стыдно, что и говорить, но ведь это чистые условности. Или, вернее, предрассудки. Если вы хотите попытаться счастья, отчего же не попробовать найти его у нас? Все лучше, чем быть отставным унтер-офицером. Подставляем головки под ваши отеческие поцелуи.

Роза, Клер, Катрин.

P.S. Катрин протестует против слова «отеческие». Она живет с нами. И станет, если захотите, вашей третьей деткой.

Он решил вернуться в Алжир через Геную. Обычно людям необходимо забиться куда-нибудь подальше ото всех перед тем, как принять важное решение и круто переломить свою жизнь; а вот Мерсо, отравленный одиночеством и неприкаянностью, больше всего нуждался в дружбе, доверии и сердечной теплоте, чтобы разыграть новую ставку в своей жизненной игре.

Сидя в поезде, уносящем его в Геную, он вслушивался в тысячи тайных голосов, которые распевали ему о грядущем счастье. При виде первого стройного кипариса на чистой полуденной земле он не выдержал и расплакался. Дали себя знать недавняя слабость и лихорадка. Но что-то в нем смягчилось и расправилось. И по мере того как солнце набирало высоту, море становилось все ближе, а с бездонных, сияющих, охваченных дрожью небес все неистовей струились на трепещущие оливы потоки золотого света, восторг, переполнявший этот мир, все теснее сливался с ликованием в сердце Мерсо. Перестук колес, дурацкая болтовня в переполненном купе, смех и песни вокруг – все это сливалось в радостную внутреннюю мелодию, баюкавшую его, пока он мчался вперед, даже не на юг, а куда глаза глядят, чтобы в конце концов очнуться среди оглушительной генуэзской разноголосицы, в пышущем здоровьем городе на берегу залива, где целыми днями шло нескончаемое сражение похоти и лени. Мерсо мучила жажда, ему хотелось любви, наслаждений, объятий. Одержимый палящими божествами, он прежде всего нырнул в море и, вдохнув полной грудью смешанный аромат смолы и соли, до потери сил плавал в маленькой бухточке неподалеку от порта. Потом пустился наугад по узким улочкам старого квартала, наслаждаясь пестротой красок, нежась под увесистым южным солнцем, отдыхая рядом с кошками среди помоек. Поднявшись на гору, возвышающуюся над Генуей, он увидел прямо перед собой необъятный простор залива, пронизанный свежестью и светом. Смежив веки, он крепко обнял горячий камень, на котором только что сидел, и снова распахнул глаза на этот крикливый город, кипевший избытком взбалмошной, грубоватой жизни. Со временем ему полюбили сидеть в полуденный час на ступеньках лестницы, ведущей в порт, провожать взглядом девушек, расходившихся по конторам. С бьющимся сердцем он смотрел на их обутое в сандалии ноги, на груди, свободно подрагивающие под легкими цветастыми платьями, и во рту у него пересыхало от страсти, утолив которую он обрел бы заодно со свободой и самооправдание. Вечером он встречал тех же девушек на улицах и шел следом, любясь их бедрами, меж которых, свернувшись клубком, незримо устроился сгорающий от желания нежный и яростный зверь. Целых два дня его снедало это нечеловеческое возбуждение. На третий день он не выдержал и отплыл в Алжир.

Во время плаванья он с утра до вечера оставался наверху, любясь игрой волн и света, приучая сердце биться в лад с медленной пульсацией неба и так, мало-помалу, приходя в себя. Но он сознавал, что это выздоровление обманчиво. Растянувшись на палубе, он думал о том, что сейчас самое главное – не поддаться сонной одуре, а бодрствовать, быть начеку, не доверять обманчивому покою, к которому тянутся его душа и тело. Он должен создать свое счастье и найти ему оправдание. Теперь эта задача, разумеется, не казалась такой уж тяжелой. Странное спокойствие, овладевавшее Патрисом к вечеру, когда морской воздух внезапно свежел и первая звезда потихоньку проклевывалась в небесах, где зеленоватые отсветы, догорая, начинали отливать желтизной – это спокойствие после великого смятения и бури говорило о том, что все темное и злое, таившееся в его душе, постепенно оседает на дно, и она становится прозрачной и ясной, исполненной только добра и решимости. Он ясно видел многое. Он долго надеялся на женскую любовь, но оказалось, что это – не его удел. Его жизнь, со службой в конторе, сонным прозябанием в запущенной комнате, с кабачками и любовницами, была посвящена лишь одному – поискам счастья, которое он, подобно всем остальным, считал, в сущности, недостижимым. Делал вид, будто ему хочется счастья, но никогда не стремился к нему осознанно и целенаправленно. Никогда, вплоть до того самого дня...

А начиная с того рокового мига, когда он хладнокровно рассчитанным поступком перевернул всю свою жизнь, счастье стало казаться возможным. Можно сказать, что он сам в муках породил свое новое «я». И не ценой ли осознания той унижительной комедии, которую играл до сих пор? Теперь он понимал, например, что привязывало его к Марте: не любовь, а только честолюбие. Даже чудо протянутых к нему губ было всего лишь удивлением перед осознавшей себя и пробудившейся к действию силой. Вся история его любви сводилась, в общем, к тому, что это первоначальное изумление сменилось уверенностью, а неприязательность – тщеславием. Он, в сущности, любил вовсе не Марту, а те вечера, когда они шли в кино, где на нее тотчас устремлялись взоры публики: то был миг, когда он как бы хвастался ею перед всем миром. То была не любовь, а самолюбование, упоение своей силой, удовлетворение тщеславия. Даже его страсть, властное влечение к ее плоти коренились, может быть, в том же первоначальном чувстве изумления: подумать только, он обладает таким неповторимо прекрасным женским телом, может вытворять с ним что угодно! А теперь он создавал, что создан не для такой любви, а для невинной и жуткой страсти черного божества, которому отныне служит.

Как это нередко случается, все то лучшее, что было в его жизни, кристаллизовалось вокруг самых худших ее проявлений. Клер со своими подружками, Загрей со своей волей к счастью, и рядом с ними – Марта. А теперь настал его черед напрячь волю и сделать шаг к собственному счастью. Но для этого нужно было время, а кому не известно, что обладание временем – это столь же заманчивая, сколь и опасная власть. Праздность вредит только заурядным личностям. Большинство людей не могли бы доказать, что не являются таковыми. Он же завоевал себе такое право. Дело за доказательствами. Изменилось в нем лишь одно. Он чувствовал себя свободным и от собственного прошлого и от того, что было им утрачено. И он принимал это самоутешение, это сжатие душевного пространства, это пылкое, но трезвое и терпеливое отношение к миру.

Ему хотелось, чтобы жизнь уподобилась куску теплого хлеба, который можно как угодно комкать и мять. Это и случилось в те долгие ночи на поезде, когда он, после бесконечных прений с самим собой, настроился жить заново. Обсасывать свою жизнь как леденец, придавать ей новую форму, оттачивать ее и, наконец, любить. К этому и сводилась вся его страсть. Свою принадлежность лишь самому себе он должен был отстаивать перед всем миром, отстаивать даже ценой одиночества, которое теперь давалось ему так нелегко. Но он не собирался отступать. Его опорой была решимость, а наградой – неистовый порыв к жизни – ждущая где-то любовь.

Море лениво терлось о борта корабля. Небо было перегружено звездами. И Мерсо, молча поглядывавший то на море, то на небо, чувствовал, что у него хватит сил любить эту жизнь, чей лик то окрашен слезами, то озарен солнцем, прозревать ее и в соленой волне и в горячем камне, восхитаться ею, ласкать ее изо всех сил своей любви и своего отчаянья. В этом была суть его нищеты и его неповторимого богатства. Он выглядел игроком, проигравшимся в пух и прах и начинающим новую партию с полным сознанием своих сил и с отчаянной, но трезвой готовностью заглянуть в лицо судьбе.

А потом был Алжир, медленное наступление утра, ослепительные потеки зари на стенах Старого города, окрестные холмы и небо над ними, широко раскинутые руки залива, дома среди деревьев и запах уже близкого порта.

И тут Мерсо подумалось, что после отъезда из Вены он ни разу не вспомнил о Загрее как о человеке, которого убил собственными руками. Стало быть, он наделен тем даром забвения, которым может похвастаться лишь ребенок, гений да блаженный. И вот тогда-то, ошавев от радости, этот блаженный понял, что он сотворен для счастья.

III

Патрис и Катрин завтракали на залитой солнцем террасе. Катрин была в купальном костюме, а «мальчик», как его называли подружки, – в трусах и с повязанной на шею салфеткой. Они ели помидоры с солью, картофельный салат, мед и особенно налегали на фрукты. Беря персики из миски со льдом, прежде всего слизывали сладкие капельки, проступившие на их бархатистых боках. Отдавали должное и виноградному соку, пили его, обратив лица к солнцу, чтобы поскорее загореть (по крайней мере именно так поступал Патрис, знавший, что загар ему идет).

– Чувствуешь солнце? – спросил он, протянув руку к девушке. – Оно прямо-таки лижет кожу.

– Конечно, – отозвалась Катрин. – И мне тоже лижет.

Мерсо потянулся, почесывая себе бока. А Катрин улеглась на живот и спустила купальник до самых бедер.

– Это тебя не смущает?

– Да нет, – отозвался он, даже не посмотрев в ее сторону.

Солнце раскалилось и застыло на его лице. Всеми порами своей влажноватой кожи он впитывал этот уже переполнивший его усыпительный жар. Глотнув очередную порцию солнца, Катрин простонала:

– Как хорошо!

– Угу, – подтвердил Мерсо.

Дом цеплялся за вершину холма, откуда был виден залив. В округе его прозвали «Домом трех студенток». Добраться до него можно было по каменистой дороге, начинавшейся и кончавшейся среди двух оливковых рощ. А посередине она расширялась, образуя нечто вроде площадки, вдоль которой тянулась стена, покрытая непристойными рисунками и политическими лозунгами; усталый путник мог перевести здесь дух, разглядывая эти художества. Затем опять шли оливы, меж их ветвей сквозило небо, напоминавшее по цвету подсиненное белье, а с опаленных лугов, где сушились лиловые, желтые и красные полотна, доносился запах мастиковых деревьев. Когда взмокший и еле переводящий дыхание путник добирался до ограды и, стараясь увернуться от когтей бугенвилеи, толкал голубую калитку, ему еще оставалось подняться по страшно крутой, но залитой сизой тенью лестнице, где уже не так мучила жара. Роза, Клер, Катрин и Мерсо называли свое жилище «Домом перед лицом Мира». Открытый на все четыре стороны света, он смахивал на корабль, подвешенный в ослепительном небе над многоцветной пляской мира. Зародившись в самом низу, на мягко изогнутом побережье, какой-то неведомый порыв трепал залитые солнцем травы и гнал наверх, к самому подножию дома, толпы кипарисов и пиний, пыльных олив и эвкалиптов. В самой сердцевине того жертвенника, к которому они стремились, цвели, сменяя друг друга, то белый шиповник, то мимоза, не говоря о жимолости, чей аромат в летние вечера так и обдавал стены Дома. Залив широко раскрывал объятия его красной черепице и белым простыням на ветру, всему этому бурному торжищу красок и света, что раскинулось под небом, натянутым без единой морщинки от края до края горизонта. А вдали, не давая вконец разгуляться хмельному великолепию округи, залив замыкали крайние отроги высоких сиреневых гор. Кто, увидев все это, стал бы жаловаться на крутую дорогу и усталость? Дом был радостью, которую хотелось завоевывать вновь и вновь, изо дня в день.

Живя вот так, наедине с миром, чувствуя его весомость и значительность, следя, как его лицо то озаряется рассветом, то гаснет, чтобы наутро вновь вспыхнуть во всей своей юной красе, четверо обитателей Дома постоянно ощущали его живое присутствие, которое было для них одновременно и наказанием и оправданием. Мир представлял здесь подобием человеческой личности, чье бесстрашие отнюдь не исключает любви, личности, к которой так и тянет обратиться за помощью и советом. И они нередко призывали его в свидетели.

– Мы вместе с миром никак не можем вас одобрить, – говорил, бывало, Патрис по поводу какого-нибудь пустяка.

Катрин, считавшая загорание нагишом вызовом предрассудкам, пользовалась отсутствием Мерсо, чтобы, раздевшись догола, понежиться на террасе. А потом, сидя за столом и следя за изменчивыми тонами неба, с чувственной гордостью изрекала:

– Я была нагой перед лицом мира.

– Ничего удивительного, – бросал свысока Патрис, – ведь женщины в силу своей природы предпочитают идеи чувствам.

Катрин тут же вскидывалась: она вовсе не хотела прослыть интеллектуал кой. А Роза и Клер хором восклицали:

– Замолчи, Катрин, ты не права.

Она была всеобщей любимицей, и поэтому все считали своим долгом постоянно ее одергивать. У нее было красиво очерченное литое тело цвета хорошо пропеченного хлеба и прямо-таки животный нюх на все самые важные в мире вещи. Никто лучше нее не разбирался в глубинном языке деревьев, моря и ветра.

– Наша малышка, – говорила Клер, не переставая жевать, – это живое воплощение одной из природных сил.

После обеда все отправлялись на солнышко, чтобы позагорать и помолчать. Человек ослабляет силу человека. Мир укрепляет ее. Роза, Клер, Катрин и Патрис, связанные между собой дружбой и нежностью, жили смеясь и играючи, любовались пляской неба и моря, находя в них тайный отсвет своей судьбы и постигая собственную глубинную суть. Иногда к хозяевам присоединялись кошки. Особенно хороша была Гуля: этакий вечно настороженный вопросительный знак с зелеными глазами и черной шерстью. Худенькая и деликатная, она временами словно сходила с ума и начинала сражение с собственной тенью.

– Девочку мучают гормоны, – говорила Роза.

Потом она заливалась смехом, откинув кудрявую голову, весело прищутив глаза, скрытые круглыми стеклами очков, и смеялась до тех пор, пока Гуля в знак особой милости не бросалась ей на колени. Нежно поглаживая шелковистую шерстку, Роза понемногу успокаивалась, расслаблялась, сама становилась похожей на огромную ласковую кошку, а вместе с ней затихала и Гуля. Кошки были слабостью Розы, ее дверь в мир, ее «пунктиком», таким же, как нагота Катрин. Любимцем Клер был кот грязно-белой масти по кличке Кали. Уступчивый, простоватый, он терпеливо сносил любые издевательства. Вволю наигравшись с ним, Клер проявляла наконец великодушие и отпускала бедное животное на волю. Лицо Клер походило на старинную флорентийскую медаль. Молчаливая и замкнутая, она могла иногда резко вспылить. Аппетит у нее был завидный. Глядя, как она полнеет, Патрис ворчал:

– Глаза б мои на это не смотрели. Красивая женщина просто не имеет права дурнеть.

– Оставь в покое ребенка, – встревала в разговор Роза. – А ты, Клер, ешь и не слушай его.

А ласковое солнце день за днем обходило всю округу от восхода до заката, сияя то над холмами, то над морем. Обитатели Дома веселились, шутили, строили планы на будущее. Посмеивались над правилами приличия, но делали вид, что подчиняются им. Патрис переводил взгляд с лица Мира на лица своих подруг, то улыбочивых, то серьезных. И временами поражался тому, как же возникла вокруг него вся эта вселенная. Доверие и дружба, солнце и белые дома, намеки, понятные с полуслова, – вот что было источником того чистого счастья, чей отзвук переполнял его душу. «Дом перед лицом Мира, – говорили они между собой, – это не пристанище для забав, а обитель счастья». Особенно хорошо Патрис чувствовал себя по вечерам, когда вместе с последним ветерком их оведало по-человечески понятное, но опасное искушение не быть похожими ни на кого.

Сегодня, приняв солнечную ванну, Катрин отправилась в контору. А невесть откуда взявшаяся Роза сказала Патрису:

– Дорогой мой, у меня есть для вас хорошая новость.

Патрис валялся на диване с детективным романом в руках.

– Я слушаю, милая Роза.

– Сегодня ваша очередь дежурить на кухне.

– Хорошо, – отозвался Патрис, не трогаясь с места.

Роза ушла, прихватив с собой студенческий ранец, в котором оставшиеся от завтрака перцы соседствовали с третьим томом скучнейшей «Истории» Лависса. Патрис, которому надо было приготовить чечевицу, до одиннадцати часов слонялся по самой большой комнате со стенами, выкрашенными охрой, заставленной диванами и этажерками, увешанной зелеными, желтыми и красными масками и шелковыми тканями с причудливым узором, потом спешно поставил вариться чечевицу, плеснул на сковородку масла, покрошил луковицу и помидор, словом, приготовил приправу, с непривычки устал и накричал на Гулю и Кали, которые громко требовали еды, несмотря на то, что Роза еще вчера пыталась им втолковать:

– Знайте, звери, что летом слишком жарко, а жара отбивает аппетит.

Без четверти двенадцать вернулась Катрин, на ней было легкое платье и открытые сандалии. Ей нужно было принять душ, обсохнуть на солнце и только после всего этого она собиралась сесть за стол.

– Ты просто невыносима, Катрин, – строго сказала Роза.

Из ванны доносился плеск воды, когда появилась запыхавшаяся Клер.

– Вы готовите чечевицу? У меня есть отличный рецепт...

– Я знаю. Нужно взять свежие сливки. Ну, и так далее. Разве не так, милая моя Клер?

Так оно и было, потому что все кулинарные рецепты Клер неизменно начинались со свежих сливок.

– Он, как всегда, прав, – заявила вошедшая в комнату Роза.

– Разумеется, – подтвердил Патрис. – А теперь – все за стол.

Они обедали на кухне, одновременно служившей складом всякой всячины. Там был даже блокнот для записи изречений Розы. Заявив, что нужно держаться попроще, Клер стала есть колбасу руками. Потом с изрядным опозданием притащилась Катрин, у нее была недовольная и жалобная мина, а глаза совсем сонные. Ей не хотелось вспоминать, что она по восемь часов в день просиживает в конторе за пишущей машинкой, отрывая эти часы от жизни. Подружки понимали ее и думали о том, во что превратилась бы их собственная жизнь, если бы им тоже пришлось работать. Патрис помалкивал.

– Да, – сказала Роза, не признававшая никаких сантиментов, – а все-таки работа тебя заела. Ты только и говоришь целыми днями о своей конторе. Мы лишим тебя права голоса.

– Но, позвольте... – вздохнула Катрин.

– В таком случае давайте проголосуем. Один, два, три – большинство против тебя.

– Ничего не попишешь, – подвела итог Клер.

Чечевица оказалась пересохшей, ели ее молча. Когда на кухне дежурила Клер, то, пробуя блюдо за столом, она всегда с довольным видом восклицала: «Просто великолепно», а вот Патрис, желая сохранить достоинство, помалкивал до тех пор, пока все остальные не расхохотались. Тогда Катрин, которая была явно не в духе, заявила, что будет добиваться сорокачасовой рабочей недели и попросила, чтобы ее проводили в местное отделение Всемирной конфедерации труда.

– Нет уж, – возразила Роза, – ты трудисься, ты туда и обращайся.

Вконец расстроенная «природная сила» пошла поваляться на солнышке. Скоро за ней последовали и все остальные. Рассеянно перебирая локоны Катрин, Клер думала о том, что «этому ребенку» не хватает, в сущности, только одного – мужчины. В «Доме перед лицом Мира» было принято решать за Катрин ее судьбу, думать, в чем она нуждается, а в чем нет. Сама она иной раз заявляла, что она уже большая и т. д., но ее никто и слушать не хотел. «Бедняжке нужен любовник», – говорила Роза.

Потом все улеглись загорать. Катрин, не умевшая долго хранить обиду, стала пересказывать конторские сплетни относительно некоей мадемуазель Перез, высокой блондинки, которая, собираясь замуж, навела справки в связи с этим событием и наслушалась таких скабрёзных историй от проезжих шутников, что, вернувшись из свадебного отпуска, заявила: «Все это было не так уж страшно». «А ведь ей уже тридцать лет», – с жалостью добавила Катрин.

С неодобрительным видом выслушав все эти рискованные истории, Роза сказала:

– Послушай, Катрин, но мы-то все еще не замужем...

В это время над городом, поблескивая металлом, пролетел почтовый самолет. Войдя в зыбкое воздушное пространство над морем, он описал дугу, такую же крутую, как и сам залив, и потом резко клюнул носом и словно нырнул глубоко в воду, подняв целый фонтан голубовато-белой пены. Гуля и Кали растянулись на солнцепеке, разинув свои змеиные пасти так, что видно было розовое небо. Их бока вздрагивали от напора сладких и соблазнительных грез. Небосвод готов был обрушиться на землю под грузом пылающего солнца. Лежа с закрытыми глазами, Катрин мысленно переживала это бесконечное падение, и ей казалось, будто она сама летит куда-то вниз, где в глубине ее существа тихонько шевелится и дышит зверь, похожий на бога.

На следующее воскресенье у них ожидалась гости. Клер должна была заняться стряпней. Роза почистила овощи, приготовила посуду и стол; Клер присматривала за плитой, почитывая книгу. Поскольку прислуга, мавританка Мина, в это утро не явилась – у нее в третий раз за год пропал отец, – Роза взяла на себя уборку дома. И вот, наконец, начали сходить гости. Первой явилась Элиана, студентка, которую Мерсо звал идеалисткой. «Почему?» – удивлялась она. «Потому что, услышав неприятную для вас, но правдивую историю, вы говорите: это хоть и правда, но нехорошо». Простодушная Элиана считала, что она похожа на «Человека в перчатке», хотя все остальные это сходство отрицали. Так или иначе, но ее комната была сплошь увешана репродукциями с этой картины. Появившись в первый раз в «Доме перед лицом Мира», она заявила, что восхищена «отсутствием предрассудков» у его обитателей. Но со временем это «отсутствие» перестало казаться ей столь уж привлекательным. Ведь оно, в сущности, сводилось лишь к тому, что обитатели Дома считали ее рассказы пустыми и скучными бреднями, да то и дело любезнейшим тоном повторяли: «Элиана, вы настоящая ослица». Заглянув на кухню вместе с еще одним гостем, Ноэлем, скульптором по профессии, Элиана наткнулась на Катрин, которая любила заниматься стряпней в самой необычной позе. Вот и сейчас она, лежа на спине, одной рукой обрывала виноград с грозди, а другой помешивала еще не успевший остыть майонез. А Роза, облаченная в широкий синий фартук, восхищенно поглядывала на Гулю, вспрыгнувшую на крышку кастрюли и показывавшую тем самым, как она проголодалась.

– Просто не верится, до чего же умное животное, – повторяла сияющая от восторга Роза.

– Да, – подтвердила Катрин, – сегодня она превзошла самое себя. – И добавила: – До того поумнела, что разбила за одно утро маленькую зеленую лампу и вазу для цветов.

Тем временем Элиана и Ноэль, слишком уставшие, чтобы выразить свое негодование, решили присесть, так и не дождавшись, когда хозяева сами предложат им это. На кухне появилась любезная и томная Клер, пожалала гостям руки и, попробовав кипевший на плите буйабес[4 – Рыбная похлебка с приправами.], нашла, что пора подавать на стол. Патрис запаздывал, но вот наконец появился и он и принялся скороговоркой объяснять Элиане, отчего у него такое хорошее настроение. Оттого, оказывается, что улицы сегодня полны хорошеньких женщин. Жаркий сезон еще только начинается, а уже появились легкие платья, еле скрывающие тугие трепетные тела. И когда он, Патрис, смотрит на все эти прелести, у него пересыхает во рту, кровь стучит в висках и жаркой волной приливает к чреслам. Стыдливая Элиана не нашлась, что ответить на эти откровения, и промолчала. Неловкое молчание продолжалось и в начале обеда, пока Клер несколько жеманно и очень отчетливо не выговорила:

– Мне кажется, что буйабес отдает горелым луком.

– Ничего подобного, – с неизменным добродушием возразил Ноэль.

И тут Роза, словно пытаясь определить меру его доброты, стала выпрашивать у него разные полезные для дома вещи, такие как колонка для ванны, персидский ковер и холодильник. Ноэль посоветовал ей купить лотерейный билет и как следует помолиться, чтобы он выиграл.

– Так мы и сделаем, – философски заключила Роза.

Было жарко, и эта благодатная густая жара только подчеркивала вкус ледяного вина и поданных на десерт фруктов. Во время кофе Элиана отважилась завести речь о любви. Если она полюбит, то непременно выйдет замуж. На это Катрин заявила ей, что влюбленным прежде всего нужно заниматься любовью, чем заставила ее передернуться от возмущения. Более практичная Роза сказала, что согласилась бы с Элианой, если бы опыт не подсказывал, что брачные узы губят любовь.

Но Элиана и Катрин уже не слушали ее, втянувшись в словесную перепалку и осыпая друг дружку несправедливыми обвинениями, что вполне соответствовало их темпераменту. Ноэль, мысливший, как и подобает скульптору, образно и четко, заявил, что верит в женщину, в детей и в патриархальные истины устойчивой семейной жизни. Тогда Роза, выведенная из себя криками Элианы и Катрин, сделала вид, будто до нее только что дошла истинная причина чересчур частого появления Ноэля у них в доме.

– Благодарю вас за откровенность, – прошипела она, – но мне трудно даже сказать, до какой степени это открытие меня потрясло. Я завтра же поговорю с моим отцом о «нашем» плане, а вы через несколько дней сможете высказать ему свою просьбу.

– Но позвольте, – пролепетал Ноэль, не понимавший, к чему клонит Роза. А та продолжала, все больше и больше взвинчивая себя:

– Я отлично все знаю, так что вы можете и не говорить. Вы из тех, что помалкивают и ждут, когда другие догадаются, что у вас на душе. И все-таки приятно, что вы наконец-то открылись, а то ведь вы так зачастили к нам, что эти визиты начали бросать тень на мою репутацию.

Заинтригованный и слегка обеспокоенный Ноэль заявил, что очень рад тому, что его старания увенчались успехом.

– Не говоря уже о том, – вмешался в разговор Патрис, закуривая сигарету, – что вам пора пошевелиться. Состояние Розы таково, что медлить уже нельзя.

– Что-что? – переспросил Ноэль.

– О господи, – вздохнула Клер, – да мы же только на втором месяце.

– И не забывайте, – вкрадчиво проворковала Роза, – что вы уже в том возрасте, когда можно быть счастливым, узнавая себя в чужом ребенке.

Ноэль слегка поморщился, а Клер – вот добрая душа! – поспешила успокоить его:

– Все это просто шутка. Так ее и нужно воспринимать. Пойдемте-ка лучше в гостиную.

А гам спор о высоких материях сразу угас. Правда, Роза, делавшая добрые дела потихоньку, успела о чем-то переговорить с Элианой. Патрис подошел к окну, Клер встала у стола, а Катрин улеглась на циновку. Остальные уселись на диван. Над городом и портом сгустился туман. Но буксирные суда продолжали свою работу, и их протяжные гудки долетали сюда вместе с запахами асфальта и свежей рыбы, напоминая о бодрствующем где-то внизу мире красных и черных корабельных корпусов, проржавевших кнехтов и облепленных водорослями якорных цепей. Как всегда, мужественный и суровый звук гудков казался голосом самой жизни, в котором чувствовалось и искушение, и прямой призыв. Элиана печально сказала Розе:

– Да ведь вы, в сущности, ничем от меня не отличаетесь.

– Нет, – возразила Роза, – я хочу только одного: быть счастливой, как можно более счастливой.

– А любовь – не единственное условие для этого, – вставил Патрис, не оборачиваясь от окна.

Он питал к Элиане самые теплые чувства и корил себя за то, что так огорчил ее. Но в то же время понимал желание Розы быть счастливой.

– Это довольно жалкий идеал, – заметила Элиана.

– Жалкий или нет – не мне судить, – но во всяком случае вполне здравый. А это, видите ли... – Патрис запнулся на полуслове.

Чуть прищурившись, Роза принялась гладить по головке вскочившую к ней на колени Гулю. Казалось, что они обе – неподвижно сидящая женщина и кошка – смотрят на мир одинаковыми глазами. Их грезы прерывались только протяжными гудками буксирных судов. Гуля свернулась клубком и замурлыкала. Веки Розы мало-помалу наливались дремотным теплом, она погружалась в тишину, нарушаемую лишь ударами собственного сердца. Кошки спят целыми днями, зато всю ночь, от первой звезды до рассвета, отдают любовным похождениям. Они знают, что тело наделено своей собственной, особой душой, не имеющей отношения к тому, что обычно именуют этим словом.

– Да, – повторила Роза, открывая глаза, – нужно быть счастливой, как можно более счастливой.

А Мерсо думал о Люсьене Рейналь. Недавно обмолвившись о встреченных им на улице красотках, он имел в виду именно ее. Он познакомился с ней у друзей. Неделю спустя, погожим жарким утром, они вместе вышли в горбд и, не зная как убить время, долго слонялись по бульварам вдоль набережных. За все время прогулки она не обронила ни слова, так что Мерсо был даже несколько удивлен, когда она на прощанье улыбнулась и крепко пожала ему руку. Довольно высокая, простоволосая, она носила открытые сандалии и белое парусиновое платье. Когда они шагали по бульварам, в лицо им дул легкий ветер. При этом платье плотно прилегало к ее телу, подчеркивая плоский живот. Зачесанные назад белокурые волосы, короткий прямой нос, великолепная грудь, уверенные движения, – все в ней дышало какой-то таинственной связью с землей, с окружающим миром. Когда она, помахивая сумочкой в правой руке, украшенной серебряным браслетом, который позвякивал о застежку, поднимала левую ладонь к глазам, заслоняясь от солнца, и легко отрывала от земли правую ступню, Мерсо казалось, что все ее жесты неотделимы от гармонии мира.

Он на удивление легко приноровился к походке Люсьены, отчасти, быть может, потому, что на ней были сандалии без каблуков. Но кроме этого он чувствовал, что в их поступи, размашистой и легкой, есть что-то схожее. В то же время замкнутое лицо и упорное молчание Люсьены не ускользнули от его внимания. Он подумал, что она, должно быть, не очень умна, и только порадовался этому. В бездуховной красоте есть нечто божественное, и Мерсо, как никто другой, мог оценить этот парадокс. Именно поэтому он и задержал в тот раз ее пальцы в своих ладонях, а потом они стали встречаться все чаще и так же молча гулять, подставляя загорелые лица солнцу или звездам, купаясь в их свете и ничего, кроме этих прогулок, не требуя друг от друга. Так оно и продолжалось до вчерашнего вечера, когда Мерсо внезапно обрел утраченное было ощущение чуда, прикоснувшись к губам Люсьены. До сих пор Мерсо волновала ее манера цепляться за его одежду, идти рядом, взяв его под руку, ее непринужденность и доверчивость – все это возбуждало его мужское самолюбие. А в ее молчании, благодаря которому выглядело особенно выразительным каждое ее движение, казался серьезным любой ее поступок, мерещилось что-то кошачье. Вчера, ближе к ночи, он прогуливался с ней по набережной. В какой-то миг, когда они остановились у ограды бульвара, Люсьена прильнула к нему. Во тьме он почувствовал под своими ладонями ее прохладные крутые скулы и нежные, дышащие теплом губы. И тогда глубины его существа потряс безмолвный вопль, отрешенный и страстный. Перед лицом ночи, до отказа набитой звездами, перед лицом города, полного рукотворных огней, под горячим и глубоким дыханием порта, обдававшим его лицо, им овладело неистовое желание сорвать с этих живых губ весь смысл мира, бесчеловечного и сонного, как немота, сковавшая ее уста. Он склонился над ней – и ему показалось, что он коснулся губами птицы. Люсьена застонала. Он впился в ее губы и, миг за мигом, не отрываясь, впивал их теплоту, пьянившую его так, словно он сжимал в объятиях целый мир. А она цеплялась за него как утопающая, то выныривая из бездны и отталкивая его губы, то снова принимая к ним, и погружалась в ледяные черные воды, палившие ее, словно целый сонм богов...

Тем временем Элиана собралась уходить. Долгая послеполуденная пора, исполненная тишины и размышлений, ждала Мерсо в его спальне. За ужином все играли в молчанку. Но потом, словно сговорясь, дружно вышли на террасу. Череда дней непрерывна. Только что над заливом клубился утренний, пронизанный солнцем туман, – и вот уже над тем же заливом спускается тихий вечер. День занимается над морем и меркнет за горами, потому что небо – это всего лишь дорога, пролегающая между морем и горной цепью. Мир извечно твердит только одну фразу, которая поначалу кажется заманчивой, а потом – надоедливой. Но наступает время, когда он покоряет нас этим бесконечным повторением и получает награду за свое упорство. Именно поэтому каждый день, проведенный в «Доме перед лицом Мира», день, затканный роскошным узором улыбок и простых жестов, заканчивался на террасе перед лицом ночи, разбухшей от звезд. Все устраивались в шезлонгах, а Катрин забиралась на низкую каменную ограду.

В серебристом таинственном небе сиял темный лик ночи. Далеко в порту мелькали огоньки, откуда-то доносилось приглушенное скрежетание трамваев. Звезды то разгорались, то угасали, то меркли, то вспыхивали вновь, складываясь в зыбкие узоры, которые тут же распадались, уступая место другим. Объятая тишиной ночь обретала тяжесть и невесомость живой плоти. Пронизанная скольжением звезд, она завораживала взгляд игрой огней, от которых на глаза наворачивались слезы. И каждый, устремляя взор в глубину небес, в ту точку, где сходятся все крайности и противоречия, мучился тайной и сладкой мыслью о своем одиночестве в этой жизни.

Катрин, чуть не задохнувшись от внезапного прилива любви, негромко всхлипнула. Чувствуя, что в его голосе звучит фальшь, Патрис осведомился:

– Вам не холодно?

– Нет, – ответила за нее Роза. – И потом, здесь так хорошо.

Клер встала, оперлась руками о стену и обратила лицо к небу. Вглядываясь в первозданное благородство мира, она уже не осознавала, где пролегла грань между ее жизнью и жадной жизни, где ее надежда вплеталась в хоровод звезд. Резко обернувшись, она сказала Патрису:

– Кто полностью доверяет жизни, тому она волей-неволей отвечает тем же.

– Разумеется, – отозвался, не глядя на нее, Патрис.

Промелькнула падучая звезда. Вслед за тем в непроглядной ночи ярче засиял отблеск далекого маяка. По дороге молча поднималось несколько человек, было слышно только их дыхание и звук шагов. Чуть погодя долетел аромат цветов.

Мир вечно твердит одну и ту же фразу. И на этом терпеливом повторении, на этой истине, ведущей от звезды к звезде, зиждется свобода, избавляющая нас от самих себя. Но вторая ее опора – это столь же упорная истина, ведущая от смерти к смерти. Думая об этом, Патрис, Катрин, Роза и Клер проникались сознанием счастья, порожденного их слиянием с миром. Эта ночь казалась им символом их судьбы, и они хотели, чтобы судьба эта была и целомудренной, и страстной, чтобы на лице ее блестели слезы и солнце и чтобы их полные скорби и радости сердца усвоили этот двойной урок, ведущий к счастливой смерти.

Было уже поздно, время перевалило за полночь. Чело ночи, таящей в себе покой и мысль мира, слегка потускнело, смутный шепот созвездий уже возвещал близкий рассвет. С переполненной светилами высоты струился трепетный отблеск. Патрис оглядел своих подруг: Катрин сжалась в комочек на ограде, откинув голову назад; Роза забилась в шезлонг, поглаживая Гулю; Клер стояла как вкопанная у стены дома, на ее выпуклом лбу светилось серебристое пятно. Юные, созданные для счастья, они делились друг с другом молодостью, но не душевными тайнами. Патрис подошел к Катрин и поверг ее плеча, слепленного из плоти и солнца, взгляделся в округлость небес. Роза тоже приблизилась к ограде, теперь все четверо оказались перед лицом Мира. Им чудилось, будто свежая ночная роса смыла с лиц приметы одиночества и, освободив этим трепетным и мимолетным омовением от самих себя, вернула миру. В этот час, когда ночь до краев полна созвездий, их жесты запечатлелись на огромном и немом лике небес. Патрис воздел руки в вышину, всколыхнув целые гроздьи звезд. Влага небес струилась по его плечам, под ногами спал Алжир, а вокруг искрился темный плащ небосвода, усыпанный драгоценными

IV

Ранним утром Мерсо вел машину вдоль побережья, высвечивая дорогу подфарниками. На выезде из города навстречу ему попала подвода молочника, и, вдохнув острый запах конского пота, он с особенным наслаждением ощутил всю свежесть наступающего утра. Было темно. Последняя звезда медленно таяла в небе, слышалось только довольное урчание мотора, да порой доносился издали конский топот и дребезжание бидонов на встречной повозке, а чуть погодя предутренние потемки озарялись искрами, летящими из-под копыт. Потом все снова тонуло в свисте ветра и шуме мотора. Чем быстрее он ехал, тем скорей наступал день.

Из глубин ночи, притаившейся меж холмов вокруг Алжира, машина вырвалась на пустынную дорогу, идущую над морем, где уже круглился рассвет. Мерсо гнал автомобиль на предельной скорости. Шины слегка причмокивали на влажном от росы асфальте, а на каждом повороте пронзительно скрежетали, и тогда ровное пофыркивание мотора на какой-то миг заглушало тихий голос прибора, плескавшегося где-то внизу. Только в самолете человек чувствует себя еще более одиноким, чем в машине. Целиком предоставленный самому себе, внимательно следящий только за точностью своих движений, Мерсо мог в то же время погрузиться в размышления. Тем временем над дорогой все ярче и ярче разгорался рассвет. Выходило солнце, а вместе с ним просыпались пустынные и молчаливые поля, наполняясь щебетом птиц и стрекотанием насекомых. Иногда навстречу бешено мчащейся машине попадался какой-нибудь крестьянин, тяжело ступавший по вязкой и жирной земле, оставляя в памяти Мерсо силуэтом с мешком на спине. Автомобиль то и дело взлетал на склон очередного холма, откуда было видно море. Холмы росли на глазах: их очертания, поначалу намеченные вдалеке легкой тенью, стремительно приближались, обрастая деталями, среди которых Мерсо различал оливковые рощи, пинии, выбеленные известковые домишки. А за следующим поворотом машина оказывалась прямо над вздувшимся от прилива морем; оно поднималось навстречу Мерсо, неся ему свои дары: сонную соленую влагу и солнечный румянец. Просвистев по дороге, машина уносилась дальше, к новым холмам над вечно неизменным морем.

Месяцем раньше Мерсо объявил, что решил покинуть «Дом перед лицом Мира». Он хотел сначала попутешествовать, а потом обосноваться где-нибудь в окрестностях Алжира. Но уже через пару недель он вернулся, убедившись, что путешествия теперь не для него: слишком уж беспокойное это удовольствие. А кроме того, он чувствовал, что в нем копится какая-то темная усталость. Он поспешил воплотить в жизнь давнишнюю мечту: купить себе небольшой домик между побережьем и горами, в Шенуа, в нескольких километрах от развалин Типасы. Вернувшись в Алжир, он прежде всего позаботился о своем статусе в глазах людей. Приобрел себе солидный пакет акций одной немецкой фармацевтической фирмы, нанял служащего, поручив ему финансовые дела, и оправдал тем самым свои частые отлучки из Алжира и свой независимый образ жизни. Впрочем, дела фирмы, с которой он связался, шли не бог весть как, и ему приходилось мириться с дополнительными расходами, воспринимая их как неизбежную плату за свою неограниченную свободу. Ведь главное было достигнуто: он предстал перед людьми в том обличье, которое было им понятно. Лень и малодушие сделали все остальное, ибо порой независимость обретается ценой мнимой откровенности. Затем он занялся судьбой Люсьены.

Родителей у нее не было, она жила одна, служила секретаршей в какой-то конторе при угольной шахте, питалась исключительно фруктами и занималась физкультурой. Мерсо попробовал давать ей книги. Она возвращала их, ни слова не говоря, а на все вопросы отвечала: «Да, мне понравилось» или «Немножко мрачновато». Накануне отъезда он предложил ей сожителство, но уточнил, что она должна, бросив работу, оставаться в Алжире и навещать его только тогда, когда ему этого захочется. Высказано все это было таким тоном, чтобы Люсьена не сочла себя униженной, да, собственно, ничего унижительного в его словах и не содержалось. Люсьена, схватывавшая некоторые вещи не умом, а каким-то животным чутьем, согласилась на его предложение.

– Я могу вам обещать и законный брак, – добавил Мерсо, – если это так уж важно. Но мне лично он кажется бессмысленным.

– Все будет так, как вы хотите, – ответила Люсьена.

Через неделю они поженились, и он туг же собрался уезжать. А Люсьена тем временем купила себе оранжевое каноэ для морских прогулок.

...Мерсо рванул руль в сторону, чтобы не раздавить зазевавшуюся среди дороги курицу. Он думал о недавнем разговоре с Катрин. То был его последний день в «Доме перед лицом Мира» – следующую ночь он провел уже в гостинице.

Тогда, после полудня, он выглянул в окно. Утром прошел дождь, залив был похож на чисто вымытую, сияющую витрину, а небо напоминало свежевystиранное белье. Продолговатый мыс, замыкавший кривизну залива, вырисовывался с поразительной четкостью, золотясь под солнечными лучами, он уходил в море словно исполинский змей. Патрис кончил укладывать чемоданы и, распахнув оконные створки, жадно вглядывался в новое рождение мира.

– Не понимаю, зачем тебе ехать, если ты так счастлив здесь, – сказала ему Катрин.

– Боюсь, малышка, что здесь меня могут полюбить, а это помешало бы моему счастью.

Катрин свернулась на диване и, чуть склонив голову, поглядывала на Патриса прекрасными бездонными глазами.

– Сколько людей усложняют себе жизнь, измышляют собственные судьбы, – не оборачиваясь, продолжал Мерсо. – Со мной все куда проще. Ты только посмотри...

Он говорил, стоя лицом к миру, и поэтому Катрин чувствовала себя одинокой. И все-таки не переставала любоваться длинными пальцами Патриса, впивавшимися в оконные створки, его стройной осанкой, а больше всего – но уже только мысленно – его взглядом, устремленным на море и небо.

– Мне бы так хотелось... – начала было Катрин, но запнулась на полуслове, не отрывая глаз от Патриса.

Пользуясь затишьем, в море начали появляться парусные суденышки. Проходя по фарватеру, они наполняли его плеском своих полотняных крыльев, а потом устремлялись в открытое море, оставляя за собой пенистые борозды. С того места, откуда на них смотрела Катрин, они казались ей стаяй белокрылых птиц, вьющихся вокруг Патриса. Он, наконец, почувствовал на себе ее безмолвный взгляд. Обернулся, взял за руки, привлек к себе.

– Никогда и ни от чего не отрекайся, Катрин. В тебе тьма разных достоинств, и самое драгоценное из них – это чувство счастья. Только не жди, что счастье придет вместе с мужчиной. Сколько женщин совершают такую ошибку! Счастье – в тебе самой, нужно лишь дождаться его.

– Да я и не жалею, Патрис, – тихо сказала Катрин, обнимая его. – Сейчас мне важно лишь одно. Чтобы ты поберег себя.

Только тут он по-настоящему почувствовал, на каком волоске висит вся его самоуверенность. Сердце сжалось от тоскливых предчувствий.

– Не стоило бы говорить об этом сейчас.

Он схватил чемодан и, сойдя по крутой лестнице, зашагал вниз по дороге, вьющейся между двумя оливковыми рощами. Впереди его ждал Шенуа, развалины Типасы, проросшие полынью, а еще – любовь, не отмеченная ни надеждой, ни отчаяньем, да воспоминания о прежней жизни, отдающие уксусом и цветочным ароматом. Он обернулся. Катрин, молча и не шелохнувшись, смотрела на него с высоты холма.

Часа через два Мерсо добрался до Шенуа. В этот миг последние лиловые тени ночи еще скользили по его уходящим прямо в море откосам, а на вершинах уже загорались красные и желтые отблески зари. В этом месте приземистые Сахельские холмы, тянущиеся до самого горизонта, вспучивались подобно хребту огромного зверя, чтобы затем низвергнуться с высоты в морскую пучину. Купленный Патрисом дом стоял на последних отрогах, в сотне метров от золотистой, пышущей жаром воды. Дом был двухэтажный, наверху располагалась всего одна, но зато просторная комната, выходящая с одной стороны на сад перед домом, а с другой – на

продолговатую террасу с видом на залив. Мерсо прошел прямо туда. Море уже начало дымиться, его синева становилась все глубже, а ярко-красные плиты, устилающие террасу, с каждым мигом все сильнее рдели и блистали. Выбеленную известкой балюстраду обвивали побеги великолепных роз, украшенные первыми цветами. Розы были белыми, и те из них, чьи распустившиеся бутоны отчетливо выделялись на фоне моря, таили в себе какую-то особенную, почти плотскую упругость и пышность. Одна из нижних комнат выходила на первые отроги Шенуа, поросшие фруктовыми деревьями, а две других – на сад и море. В саду росли две пинии, вздымавшие в небо стволы непомерной высоты, увенчанные желтовато-зелеными кронами. Из дома просматривалось только пространство между деревьями да излучина залива. Мерсо долго следил, как появившийся на горизонте крохотный пароходик понемногу одолевает расстояние от одного ствола до другого.

Здесь-то ему и предстояло жить. Спору нет, красота окрестных мест трогала его сердце. Из-за нее он, собственно, и приобрел этот дом. Но передышка, которую он надеялся здесь приобрести, теперь пугала его. Одиночество, к которому он так упорно стремился, оказалось источником тревоги, обострившейся с тех пор, как он успел здесь оглядеться. Деревушка располагалась неподалеку, всего в нескольких сотнях метров. Он вышел из дому. От дороги отходила тропинка, ведущая прямо к морю. Ступив на нее, он впервые заметил, что на другом конце залива виднеется острокопечная вершина Типасы. На ней вырисовывались позлащенные солнцем колонны храма, а вокруг них – древние развалины, заросшие полынью, похожей издали на облысевшее и поседевшее овечьё руно. Мерсо подумал, что июньскими вечерами ветер доносит сюда запах согретой солнцем полыни.

Ему нужно было освоиться, обжиться на новом месте. Первые дни промелькнули незаметно. Он белил стены известью, покупал в Алжире занавески, начал проводить электричество. И за этими трудами, прерываемыми лишь для того, чтобы перекусить в деревенской гостинице да искупаться, он почти забыл, зачем сюда приехал. Его отвлекали усталость, ломота в костях и зуд в ногах, опасения насчет того, хватит ли ему извести, заботы о починке выключателя в коридоре. Ночевал он в гостинице и там мало-помалу перезнакомился со всей деревушкой: с парнями, которые заходили туда по воскресеньям поиграть в русский бильярд или пинг-понг (коротая за этим занятием целые часы, они ровным счетом ничего не заказывали и тем приводили хозяина в бешенство); с девушками, гулявшими по вечерам вдоль берега (они держались за руки и переговаривались, чуть-чуть жеманно растягивая окончания слов); с одноруким рыбаком Перезом, поставлявшим в гостиницу свой улов. Здесь же он повстречал и деревенского врача, Бернара. Когда в доме был, наконец, наведен полный порядок, Мерсо перенес туда свои пожитки и вот тут-то он почти очнулся от забытья. Был уже вечер. Мерсо расположился в комнате на втором этаже, за окнами которой два мира вели спор из-за пространства между двумя пиниями. В одном из них, почти прозрачном, множились звезды. В другом, более плотном и темном, слышался таинственный плеск моря.

До сих пор он был постоянно чем-то занят: то встречал рабочих, которые помогали ему устроиться, то болтал с хозяином кафе. А теперь осознал, что ему некого больше встречать – и завтра и вообще никогда, и что он остался лицом к лицу с тем самым одиночеством, к которому так стремился. В этот миг ему показалось, что завтрашний день неимоверно далек. Но он убедил себя, что именно этого ему и хотелось: остаться наедине с самим собой на бесконечно долгий срок, вплоть до самой смерти. Он решил еще посидеть, покуривая и размышляя, но часам к двум ночи начал клевать носом и улегся спать. На следующий день проснулся поздно, часов в десять, приготовил себе завтрак и перекусил, даже не успев побриться и причесаться: сказывалась легкая усталость. А после завтрака, вместо того чтобы отправиться в ванную, он стал слоняться из комнаты в комнату, листать журналы и в конце концов страшно обрадовался, увидев отошедший от стены выключатель, и принялся его чинить. В это время в дверь постучали. На пороге стоял мальчишка-рассыльный из гостиницы, он принес завтрак, заказанный Патрисом накануне. Делать было нечего: Мерсо снова уселся за стол, нехотя поел, чтобы блюда не успели остыть, а потом развалился на диване в одной из нижних комнат, закурил и сам не заметил, как его сморил сон. Проснулся он, злой сам на себя, когда было уже четыре часа. Умылся, тщательно побрился, наконец-то оделся и сел писать письма: одно – Люсьене, другое – трем студенткам. Когда он покончил с этим, было уже поздно, наступала ночь. Тем не менее он отправился в деревушку, бросил письма в почтовый ящик и вернулся обратно, не встретив по дороге ни души. Поднялся к себе в спальню и вышел на террасу. Море беседовало с ночью на побережье и среди развалин. Он задумался. Воспоминания об этом потерянном дне отравляли ему душу. Но впереди оставался целый вечер: можно было поработать,

хоть чем-нибудь заняться, ну, например, почитать или совершить ночную прогулку. Скрипнула садовая калитка, тот же мальчишка принес ему ужин. Мерсо проголодался и поэтому поел с аппетитом, а потом почувствовал, что у него нет сил выйти. Решил лечь и подольше почитать. Но с первых же страниц глаза начали слипаться, он заснул и наутро опять встал очень поздно.

Мерсо попытался бороться с этим наваждением. По мере того как тянулись дни, целиком заполненные скрипом калитки и дымом бесчисленных сигарет, он все больше убеждался в несоответствии между решением, приведшим его к такой жизни, и самой этой жизнью. Как-то вечером он собрался с духом и написал Люсьене, прося ее приехать, нарушив тем самым одиночество, к которому так стремился. Отправив письмо, он почувствовал жгучий стыд. Но когда Люсьена приехала, этот стыд растаял в горниле глупой и безоглядной радости, охватившей его при виде близкого существа, при мысли о том облегчении, которое даровало ему само присутствие Люсьены. Он всячески убажал ее, был внимателен и предупредителен, а она смотрела на все это с некоторым удивлением, занимаясь главным образом своими полотняными платьями.

Теперь они вместе выходили на прогулки. Обнимая Люсьену за плечи, Мерсо вновь обретал сопричастность миру, избавлялся от терзавших его тайных страхов. Но не прошло и двух дней, как Люсьена ему наскучила. И надо же было случиться, что именно тогда, во время ужина, она и предложила ему жить вместе. Не поднимая глаз от тарелки, Мерсо наотрез отказался.

Помолчав, Люсьена безразличным тоном добавила:

– Выходит, ты меня не любишь.

Мерсо поднял голову. Ее глаза были полны слез. Он смягчился:

– Ну что ты, малышка, я никогда этого не говорил.

– Верно, – сказала Люсьена, – но это лишь подтверждает мои слова.

Мерсо встал и подошел к окну. Между двумя пиниями кишели в ночи звезды. Быть может, никогда до сих пор его не мучила такая тоска и такое отвращение к бесцельно проведенным здесь дням.

– Ты чертовски хороша, Люсьена, – сказал он. – А большего мне и не нужно. И я не прошу у тебя большего. Твоей красоты нам вполне достаточно.

– Я знаю, – подтвердила она. Повернулась спиной к Патрису и принялась водить кончиком ножа по скатерти. Он подошел к ней, положил руки на плечи.

– Не существует, поверь мне, великой скорби, великого раскаянья, неистребимых воспоминаний. Все забывается, даже великая любовь. Это очень грустно и в то же время приносит утешение. Есть только определенный взгляд на вещи, время от времени даруемый нам обстоятельствами. Вот почему все-таки лучше испытать хоть раз в жизни великую страсть, несчастную любовь. В этом – единственное оправдание того беспричинного отчаянья, которое гнетет всех нас.

Помолчав, Мерсо добавил:

– Не знаю, поймешь ли ты меня.

– Думаю, что пойму, – ответила Люсьена, резко повернувшись к нему. – Мне кажется, что ты несчастлив.

– Я буду счастливым, – почти выкрикнул Мерсо. – Должен им быть. И залогом тому – эта ночь, это море и моя рука у тебя на плече.

Обернувшись к окну, он еще крепче обнял Люсьену.

– Неужели у тебя нет для меня даже капельки дружеских чувств? – не глядя в его сторону, спросила Люсьена.

Патрис опустил на колени, прильнув губами к ее плечу.

– Дружеские чувства? Ну, конечно. Такие же, как я питаю к ночи. Ты – отрада моих глаз, и тебе ли не знать, что для этой отрады у меня в сердце всегда найдется местечко.

На следующее утро она уехала. А еще через день, не в силах сладить с самим собой, Мерсо сел за руль и отправился в Алжир. Первым делом побывал в «Доме перед лицом Мира». Студентки обещали навестить его в конце месяца. Потом решил взглянуть на родные места. В доме, где он когда-то жил, теперь был открыт кабачок. Он поинтересовался судьбой бочара, но никто не смог ему сказать ничего толкового: вроде бы тот уехал в Париж искать работу. Мерсо прошелся по кварталам. В ресторане Селеста не было, в общем, никаких перемен, разве что сам хозяин изрядно постарел. В углу, все с таким же важным видом, восседал чахоточный Рене. Они обрадовались появлению Мерсо, да и сам он был растроган этой встречей.

– Кого я вижу! – воскликнул Селест. – Да ты совсем не изменился! Ну ни капельки!

– Угу, – подтвердил Мерсо.

Его восхитила поразительная слепота людей, отлично сознающих перемены в самих себе, но считающих, что все остальные должны вечно оставаться такими, какими они их себе когда-то представляли. Неудивительно, что и о нем они судили по прежним меркам, как о собаке, у которой не меняется характер. Значит, люди смотрят друг на друга не иначе как на собак. Чем лучше Селест, Рене и все остальные знали Мерсо в прошлом, тем непонятней стал он для них теперь: не человек, а какая-то загадочная, необитаемая планета. Тем не менее расстались они по-дружески. Выйдя из ресторана, он столкнулся с Мартой. Увидев ее, он подумал, что почти забыл о ней и в то же время не оставлял надежды на эту встречу. Она по-прежнему была размалеванной богиней. Он почувствовал к ней глухое, но не особенно сильное вожделение. Они пошли вместе.

– О Патрис, – пролепетала она, – как я рада тебя видеть. Что поделываешь?

– Ничего, как видишь. Поселился за городом.

– Это же просто шикарно. Я всегда мечтала о такой жизни. – Помолчав, добавила: – Знаешь, а ведь я на тебя нисколько не сержусь.

– Ну, еще бы, – рассмеялся Мерсо, – ты ведь, наверно, мигом утешилась.

Но тут Марта заговорила с ним таким тоном, которого он от нее раньше никогда не слышал:

– Послушай, не будь таким злоюй. Я прекрасно понимала, что этим все у нас и кончится. Ты был каким-то странным типом. А я – всего лишь маленькой девочкой, как ты говорил. Ну так вот, когда все это случилось, я прямо сама не своя была от обиды. Но потом сообразила, что ты попросту несчастный человек. И ют еще что, даже не знаю, как лучше сказать. Ну, в общем, я тогда впервые почувствовала, что наш роман обернулся для меня и печалью, и радостью.

Мерсо уставился на нее, не веря своим ушам. И внезапно до него дошло, что Марта всегда очень хорошо к нему относилась. Приняла его таким, каким он был, избавила в какой-то степени от одиночества. А он был несправедлив к ней. Переоценивал ее в силу своего воображения и тщеславия – и в то же время гордыня не позволяла ему по-настоящему воздать ей должное. Только теперь он уразумел жестокий парадокс, заставляющий нас дважды обманываться в тех, кого мы любим: сначала – возвышая их, потом – развенчивая. Он понял, что Марта вела себя с ним совершенно естественно, была такой, какая она есть, и за одно это он должен быть ей благодарен.

Моросил мелкий дождик, в его пелене расплывались и дрожали уличные огни. Глядя сквозь эту искрящуюся сеть на внезапно посерьезневшее лицо Марты, Мерсо почувствовал, что его распирает от какой-то слезливой благодарности, которую он не мог толком выразить, но в иное время принял бы за что-то, похожее на любовь. А сейчас ему удавалось выдавить из себя лишь несколько жалких слов:

– Ты знаешь, я все-таки люблю тебя. И даже теперь, будь это в моих силах...

– Не стоит, – улыбнулась она. – Ведь я еще молода. И, в сущности, ничего не лишилась, ведь правда же?

Ему оставалось только кивнуть. Что за пропасть пролегла между ними, несмотря на всю их тайную близость!

Проводив ее до дому, он стал прощаться. Держа над головой зонтик, она сказала:

– Надеюсь, мы еще увидимся.

– Угу, – отозвался Мерсо. Она печально улыбнулась.

– А ты нисколько не изменилась, – сказал он. – Ни дать ни взять – та же маленькая девочка.

Ступив под дверной навес, она закрыла зонтик. Патрис протянул ей руки и в свой черед улыбнулся:

– До свиданья, милый призрак!

Она порывисто обняла его, расцеловала в обе щеки и бегом пустилась вверх по лестнице. А Мерсо остался под дождем, все еще чувствуя на своих щеках холодный нос и жаркие губы Марты. Этот неожиданный и бескорыстный поцелуй был так же чист, как тот, что он получил когда-то от веснушчатой венской шлюхи.

Все это не помешало ему отправиться к Люсьене, переночевать у нее, а наутро предложить ей вместе прогуляться по бульварам. Было около полудня, когда они вышли. Оранжевые лодки обсыхали на солнце словно четвертушки апельсинов. Голуби и их тени то слетали к самой воде, то ленивой дугой взмывали ввысь. Слегка припекало яркое солнце. Черно-красный почтовый самолет прогудел над их головами и, набирая скорость, понесся прямо к той ослепительной полоске, что пенилась на стыке неба и моря. Они с легкой завистью посмотрели ему вслед.

– Везет же кому-то, – вздохнула Люсьена.

– Да, – согласился Патрис, а про себя подумал, что нисколько не завидует этому везению.

Не то чтобы он был равнодушен к перемене мест, путешествиям, новым начинаниям: просто знал, что все это вызывает представление о счастье только в ленивых и безвольных душах. На самом же деле – это выбор, совершаемый упорной и трезвой волей. «Волей к счастью, а не волей к отречению», – вспоминал Мерсо слова Загрея. Он обнял Люсьену, его ладонь коснулась ее жаркой и нежной груди.

Тем же вечером, возвращаясь на машине в Шенуа, Мерсо глядел на вздувшиеся от дождя ручьи, на гряды холмов впереди – и чувствовал, как его душой овладевает немая пустота. Он столько раз пытался начать все сначала, осмыслить прежнюю жизнь, что в конце концов осознал, чем он хотел и чем не хотел бы быть. Потерянные, постыдные дни, проведенные словно в спячке, казались ему теперь столь же опасным, сколь и необходимым испытанием. Он мог втянуться в эту спячку и разом потерять единственную возможность самооправдания. Но что поделаешь, нужно было пройти через это.

Переключая коробку скоростей, вертя баранку, Мерсо мало-помалу проникался той уничижительной и в то же время бесценной истиной, что диковинное счастье, к которому он так стремился, сводится, в сущности, к раннему подъему, регулярным водным процедурам, сознательным гигиеническим навыкам. Он гнал машину все быстрее, торопясь воспользоваться этим озарением, чтобы именно так и устроиться в новой жизни, которая впредь не потребует от него никаких усилий. Чтобы подчинить свое дыхание глубинному ритму времени и жизни.

На следующее утро он встал пораньше и тут же спустился к морю. Рассвет уже разгорелся вовсю, утро звенело от птичьего щебета и шелеста крыльев. Но солнце едва-едва проглянуло на горизонте, и когда Мерсо вошел в тусклую воду, ему показалось, что он плывет в каких-то неясных сумерках. Но вот, наконец, взойшло солнце, и он погрузил руки в струю ледяного и алого золота. Домой он вернулся бодрым, готовым к любым испытаниям. И начиная со следующего утра спускался к морю еще до восхода солнца, набираясь энергии на весь день. Вначале эти купания

не только взбадривали, но и утомляли его, вливая вместе с зарядом энергии какую-то блаженную слабость, так что потом он целый день пребывал в состоянии счастливого томления. И все-таки дни тянулись чересчур медленно. Он еще не научился высвобождать время из-под спуда привычек, служивших ему точкой отсчета. Ему ровным счетом нечего было делать – и потому время никуда не торопилось. Каждая минута сама по себе была чудом, но ему пока еще не было дано это осознать. Во время путешествия дни казались бесконечными, в конторе целые недели пролетали мгновенно, а теперь, лишившись привычных мерок, он тщетно пытался отыскать их в этой новой жизни, с которой он не знал что делать. Иногда он брал часы, смотрел, как большая стрелка ползет от одной цифры к другой, и только диву давался, насколько бесконечными кажутся какие-нибудь пять минут. Именно эта забава и открыла ему тернистый и мучительный путь к великому искусству ничегонеделанья. Он приучал себя к прогулкам. Иной раз, шагая вдоль побережья, добирался до развалин на противоположной оконечности залива. Ложился там прямо на землю среди кустиков полыни и, чувствуя под рукой тепло древних камней, открывал глаза и сердце невыносимому величию пышущих жаром небес. Приноравливая биение крови к яростной пульсации слепополуденного солнца, к сонному стрекотанию цикад, он наблюдал, как выцветшее от зноя небо постепенно наливается чистой голубицей, а потом, проветрившись, расцветает зеленью и струит ласковую негу на еще не остывшие развалины. Домой он возвращался рано и тут же заваливался спать. Подчиняясь чередованию рассветов и закатов, его дни приноравливались к их ритму, чья неспешность и необычность стали ему так же необходимы, как раньше была необходима служба в конторе, сон, ресторан. Но теперь, как и тогда, Мерсо вживался в этот ритм почти бессознательно. С той лишь разницей, что сейчас он порой постигал: время целиком принадлежит ему, и за тот краткий миг, когда море из алого становится зеленым, некий отсвет вечности сквозил ему в каждой прожитой секунде. Ни сверхчеловеческое счастье, ни вечность не открывались ему вне круговращения дней. Счастье было вполне человеческим, а вечность – будничной. Главное состояло в том, чтобы смириться, подчинить сердце ритму дней, а не подгонять этот ритм под метания человеческого духа.

Подобно тому, как ваятель должен уметь вовремя остановиться, уловить миг, когда лишний удар резца может испортить готовую статую, причем неразумная воля способна в этом отношении сослужить ему лучшую службу, чем самые изощренные выкладки ума, так малая толика неразумности необходима тем, кто стремится увенчать свою жизнь счастьем, тем, кто не смог это счастье завоевать.

По воскресеньям Мерсо играл в бильярд с рыбаком Перезом, у которого одна рука была отнята выше локтя. Перез орудовал кием на свой манер, прижав его к груди и поддерживая культей. Мерсо не переставал восхищаться ловкостью старого рыбака и по утрам, когда тот выходил в море. Зажав левое весло под мышкой, сильно скособочившись, он толкал его грудью, а правым греб как обычно, причем взмахи обоих весел были на удивление согласованы. Перез отлично готовил каракатиц в собственном соку, под острым соусом. Мерсо охотно разделял с ним трапезу, подбирая куском хлеба с засаленной сковородки черную и жгучую жижу. Кроме того, Перез был великим молчуном, и Мерсо особенно ценил в нем это качество. Иногда на заре, после купанья, увидев, как тот спускает в море лодку, он подходил поближе:

– А можно мне с вами, Перез?

– Валяйте.

Они вставляли весла в уключины и дружно гребли, стараясь не поранить босые ноги о крючки перемета. Потом забрасывали перемет в море, и Мерсо следил за лесками, блестящими на поверхности, зыбкими и черными в глубине. Солнце дробилось в воде на тысячи мельчайших осколков, Мерсо вдыхал тяжкий и удушливый запах, отрывку пучины. Время от времени Перез снимал с крючка мелкую рыбешку и кидал ее обратно, приговаривая:

– Ступай-ка, малыш, к своей маме.

К одиннадцати часам они возвращались, и Мерсо, с руками, облепленными серебристой чешуей, с распухшим от солнца лицом, спешил домой, где было прохладно, как в погребе, а Перез начинал стряпать очередное рыбное блюдо, которое они вместе уплетали за ужином. Так, день за днем, Мерсо отдавался течению времени – это было ничуть не труднее, чем скользить по морским волнам. Пловец продвигается вперед лишь благодаря дружеской поддержке воды, а для Мерсо такой поддержкой служили сущие пустяки: достаточно приложить ладонь к стволу

пинии или пробежаться по пляжу, чтобы почувствовать, что ты еще цел и невредим. Так он сливался с жизнью в ее чистом виде, обретал рай, уготованный либо самым неразумным, либо непомерно мудрым живым существам. И дойдя до той точки, где разум отрицает самое себя, постигал, наконец, собственную истину, а вместе с ней – всю беспредельность своего величия и любви.

Благодаря знакомству с доктором Бернаром Мерсо приобщился ко всему деревенскому обществу. В первый раз он вызвал его по поводу легкого недомогания, а потом они начали видаться просто так и подчас ко взаимному удовольствию. Бернар тоже был неразговорчив, но в его глазах, скрытых очками в толстой оправе, мерцал отблеск глубокого и горького ума. Он долго практиковал в Индокитае, а в сорок лет переселился сюда, в алжирскую глушь, и вот уже несколько лет мирно жил здесь с женой, вьетнамкой, носившей высокий шиньон и современный европейский костюм, но не знавшей почти ни слова по-французски. Бернар был человеком неприхотливым, мог ужиться где угодно. Он любил своих пациентов, а те платили ему взаимностью, так что ему было легко ввести Мерсо в местное общество. Патрис был уже на короткой ноге с хозяином гостиницы, бывшим тенором, который любил распевать за стойкой арии из «Тоски», а в паузе между двумя фиоритурами успевал пригрозить трепкой жене. Патрису и Бернару было предложено войти в комитет по организации праздников. И теперь по торжественным дням, будь то 14 июля или другая славная дата, они расхаживали по деревушке с трехцветными повязками на руках или, рассевшись вместе с другими членами комитета за грязным жестяным столом, уставленным сладкими аперитивами, обсуждали вопрос о том, как должна быть украшена эстрада для музыкантов. Патриса попытались даже втянуть в предвыборные распри. Но он, к счастью, уже успел составить мнение о здешнем мэре. Тот, по его собственным словам, вот уже десять лет «руководил судьбами общины» и в силу столь длительного пребывания на своем посту склонен был мнить себя чем-то вроде Наполеона Бонапарта. Этот разбогатевший винодел отгрохал себе дом в греческом стиле и при первом же удобном случае пригласил Мерсо полюбоваться своим жилищем. Оно состояло всего из двух этажей, но, не отступая ни перед какими затратами, мэр установил в нем лифт. Мерсо и Бернару было предложено опробовать его. «Тише едешь – дальше будешь», – невозмутимо отметил Бернар. С этого дня Мерсо проникся к мэру глубочайшим восхищением и вместе с Бернаром использовал все свое влияние, чтобы сохранить за ним его безусловно заслуженный пост.

Весной деревушка, чьи красные крыши теснились между горой и морем, утопала в цветах – чайных розах, гиацинтах и бугенвилеях – и дрожала от жужжания насекомых. В послеполуденный час Мерсо выходил на террасу и смотрел, как она зыблется в сонном мареве под щедро льющимися с высоты лучами. Достославная история деревушки сводилась к соперничеству между Моралесом и Бингесом, двумя выходцами из Испании, которые посредством финансовых махинаций выбились в миллионеры. Незамедлительно вслед за этим ими овладела мания величия. Если кто-то из них покупал себе машину, то выбирал самую шикарную. Другой приобретал такую же, но тотчас присобачивал к ней серебряные ручки. В этом смысле Моралес был настоящий гений. Недаром в деревушке его прозвали «Испанским королем». Он по всем статьям опережал Бингеса, не страдавшего избытком воображения. Во время войны Бингес подписался на государственный заем, купив облигаций на многие сотни тысяч франков. Моралес заявил, что обскачет соперника, и послал на фронт сына, хотя тот еще не достиг призывного возраста. В 1925 году Бингес возвратился из столицы, сидя за рулем великолепной «бугатги» гоночного класса. Не прошло и двух недель, как Моралес велел построить себе ангар и разорился на самолет марки «Кодрон». Это воздухоплавательное сооружение до сих пор пылится в ангаре, куда по воскресеньям пускали посетителей; Бингес обзывал Моралеса «босяком», а тот величал его «ходячим крематорием».

Однажды Бернар привел Мерсо к Моралесу. Тот принял их на огромной ферме, пропахшей изюмом и населенной преимущественно осами, – принял со всеми знаками почтения, но в шлепанцах на босу ногу и в рубашке, потому что терпеть не мог ни пиджаков, ни ботинок. Им показали самолет, машины, медаль, полученную сыном на войне и теперь хранящуюся в гостиной, в специальной витрине, потом Моралес принялся втолковывать Патрису, что всех иностранцев надо гнать вон из Алжира («сам-то я давно натурализовался, а вот этот Бингес...»), и, наконец, потащил их смотреть новую диковину. Углубившись в громадный виноградник, они обнаружили посреди него округлую каменную площадку, на которой красовался салонный гарнитур в стиле Людовика XV из ценных пород дерева с умопомрачительной обивкой: именно здесь, в центре своих владений, Моралес и принимал посетителей. Мерсо учтиво осведомился, что же делается с этой мебелью после дождливого сезона. «Я ее полностью заменяю», – не моргнув глазом ответил Моралес и пыхнул сигаретой.

На обратном пути Бернар и Мерсо принялись выяснять, чем нувориш отличается от поэта, каковым, по мнению доктора, и является Моралес. А Мерсо подумал, что из него вышел бы неплохой римский император времени упадка.

Вскоре после этого в Шену нагрянула Люсьена и, погостив несколько дней, отбыла восвояси. А в следующее воскресенье, утром, появились Клер, Роза и Катрин: они не забыли про свое обещание. Патрис пребывал далеко уже не в том настроении, которое в первые дни затворничества заставило его отправиться в Алжир, однако вместе с Бернаром пошел встречать их на остановку. Они вылезли из огромного автобуса канареечного цвета. День был великолепным, по деревушке так и сновали роскошные красные машины окрестных мясников, среди пышных цветов прогуливался по-воскресному разодетый люд. По просьбе Катрин вся компания на минутку заглянула в кафе. Катрин восхищалась и всем этим блеском, и незнакомой для нее обстановкой, и плеском моря, раздававшимся прямо за ее спиной. Когда они уже собрались уходить, с соседней улочки грянула диковинная музыка. Играли вроде бы «Марш тореадора» из оперы «Кармен», но до того шумно и нестройно, что мелодию едва можно было разобрать.

– Это оркестр гимнастического общества, – пояснил Бернар.

Вскоре из-за поворота высыпала толпа музыкантов с самыми разнообразными духовыми инструментами; все они без передышки дудели, свистели и гудели. Толпа приближалась к кафе, а позади нее, в сбитом на затылок котелке, обмахиваясь рекламным проспектом, шагал Моралес. Он нанял этих музыкантов в городе, потому что, как он сам потом объяснил, «жизнь во время экономического кризиса стала слишком печальной». Моралес уселся посреди кафе, вокруг него расположились музыканты и с блеском завершили номер. В кафе повалил народ. Тогда Моралес поднялся и, обведя публику взглядом, важно объявил:

– По моей просьбе оркестр повторит «Марш тореадора».

Выходя из кафе, студентки задыхались от смеха. Но, добравшись до дома Мерсо, где тенистая прохлада комнат только сильнее подчеркивала ослепительную белизну наружных стен, окруженных садом и залитых солнцем, они притихли и успокоились, и Катрин тут же изъявила желание позагорать на террасе. Мерсо пошел проводить Бернара. Сегодня тот во второй раз стал свидетелем кое-каких подробностей из личной жизни Мерсо. Они никогда между собой не открывались, Мерсо считал Бернара не особенно счастливым, а тому была непонятна жизнь Мерсо. Они расстались, не сказав другу другу ни слова. Вернувшись к себе, Мерсо договорился с подружками, что завтра поутру они все вместе отправятся на прогулку в горы. Пик Шенуа очень крут, забираться на него нелегко, зато у них впереди чудесный денек, а усталость – сносная плата за такое удовольствие.

Ранним утром они уже карабкались по первым крутым отрогам. Роза и Клер молча шагали впереди, Патрис и Катрин – за ними. Мало-помалу они поднимались все выше и выше над морем, еще белесым от утреннего тумана. Патрис тоже молчал, жадно вглядываясь в горный склон, поросший редким взъерошенным безвременником, в ледяные источники, в чередование света и тени и вслушиваясь в собственное тело, которое поначалу во всем соглашалось с ним, но вскоре принялось артачиться. Они втянулись в сосредоточенный ритм нелегкой ходьбы и, хотя свежий воздух раскаленным железом обжигал их легкие, шли все вперед и вперед, преодолевая склон, а заодно и самих себя. Наконец Роза и Клер, запыхавшись, сбавили шаг. Катрин и Патрис обогнали их и вскоре потеряли из виду.

– Ну, как? – спросил у нее Патрис.

– Нет слов.

Солнце поднималось все выше, и чем сильнее оно припекало, тем громче становилось стрекотание насекомых, оживавших от его тепла. Скоро Патрису пришлось снять рубашку, и он пошел дальше голый до пояса. Пот катил по его плечам, шелушившимся от солнца. Они ступили на тропинку, вьющуюся вдоль склона горы. Трава под ногами становилась все более сочной. Вскоре они услышали журчание воды, а затем увидели бьющий из тенистой расщелины источник. Они окатили друг друга водой, попили немного, и Катрин улеглась на траве, а Патрис, с влажными от воды, прилипшими ко лбу волосами, прищурился, глядя на окрестный пейзаж, пестрящий развалинами, дорогами и блестками солнца. Потом он подсел к Катрин.

– Мы тут совсем одни, – сказала она. – Так скажи мне, счастлив ли ты?

– Взгляни лучше вокруг, – отозвался Мерсо.

Тропинка дрожала в солнечном мареве, над ней плясал целый рой радужных пылинок. Патрис улыбнулся и потер руки.

– Все это прекрасно, но я хотела бы задать тебе еще один вопрос. Если не хочешь, не отвечай. – Она помедлила. – Ты любишь свою жену?

– Это неважно, – улыбнулся Мерсо, обнял Катрин за плечи и, тряхнув мокрой головой, обдал брызгами ее лицо. – Ты напрасно думаешь, малышка, что мы можем выбирать или делать то, что хотим, требовать каких-то условий для счастья. Главное, видишь ли, это воля к счастью, постоянное и напряженное его осмысление. А все остальное – женщины, искусство, успех в обществе – это только предлог. Канва, по которой мы вышиваем.

– Верно, – сказала Катрин, и солнце заискрилось в ее глазах.

– Важно еще и качество счастья. Я могу наслаждаться им только в условиях упорного и яростного противоборства с его противоположностью. Счастлив ли я? А ты не помнишь, Катрин, знаменитую формулу: «Ах, если бы я мог начать жизнь сначала?» Так вот, я ее и начинаю. Но ты, наверное, не понимаешь, что это все значит.

– Нет, – призналась Катрин.

– Как бы это тебе объяснить, малышка? Если я и счастлив, то лишь благодаря своей нечистой совести. Мне нужно было бросить все и уехать вкусить того одиночества, которое помогло бы разобраться в себе самом, понять, где солнце, а где слезы... Да, по-человечески говоря, я счастлив.

Тут их беседу прервало появление Розы и Клер. Они подобрали рюкзаки и двинулись в путь. Дорога по-прежнему вилась вокруг горы среди берберийских смоковниц, оливковых деревьев и зарослей ююбы. Навстречу попадались арабы верхом на осликах. Потом дорога круто пошла в гору. Солнце с удвоенной силой палило придорожные камни. В полдень, выбившись из сил от зноя, опьянев от одуряющих запахов, путники решили сделать передышку и сбросили на землю рюкзаки. Их окружали скалистые склоны, сложенные из кремня. Приземистый корявый дуб приютил их в округлой тени. Они достали съестные припасы и перекусили. Вся гора от подножия до вершины дрожала от напора света и пения цикад. Зной допекал их даже в тени дуба. Патрис ничком повалился на землю, вдыхая ее жгучий аромат. Глухие толчки горы отдавались во всем его теле. Их однообразный ритм постепенно сморил его, и он задремал под оглушительный хор насекомых среди раскаленных камней.

Проснулся он разбитый, весь в поту. Было около трех часов. «Детки» куда-то запропастились, но вскоре смех и крики возвестили об их возвращении. Жара спала. Можно было продолжать подъем. И тут, как раз на полпути к вершине, с Мерсо случился обморок. Очнувшись, он увидел склонившиеся к нему тревожные лица девушек, а между ними – голубизну моря. Они стали потихоньку спускаться. Дойдя до первых отрогов, Мерсо попросил сделать передышку. Море и небо постепенно зеленели, с горизонта веяло свежестью. На холмах вокруг залива наливались чернотой кипарисы. Все помалкивали, только у Клер вырвалось:

– На тебе совсем нет лица.

– Что поделаешь, малышка.

– Мое дело сторона, но мне кажется, что этот край не для тебя. Слишком близко к морю, слишком влажно. Почему бы тебе не поехать во Францию, в горы?

– Пусть этот край не для меня, Клер, но я здесь счастлив. Я сжился с ним.

– И тебе хочется продлить свое счастье?

– Счастье нельзя ни продлить, ни укоротить. Ты счастлив – и все тут. Даже смерть не помеха счастью, это всего лишь случайность, входящая в правила игры.

– Все это не особенно убедительно, – сказала Роза, подумав. Остальные промолчали.

Уже вечерело, когда они дотащились до дому. Катрин вызвалась сходить за Бернаром. Мерсо сидел наверху, у себя в спальне, глядя на белесое пятно балюстрады, на темную волнистую каемку моря и более светлую полоску над ней – беззвездное ночное небо. Он чувствовал себя неважно, но слабость странным образом бодрила и просветляла его. Когда Бернар постучал, Мерсо подумал, что сейчас самое время выложить ему все. Нельзя сказать, чтобы он тяготился своей тайной, да и тайны-то, в сущности, никакой не было. До сих пор он молчал лишь потому, что боялся натолкнуться на предрассудки и непонимание. А теперь, побуждаемый телесной слабостью и глубокой потребностью в исповеди, он был похож на художника, который долго отделявал и шлифовал свое произведение и вот, наконец, понял, что пришла пора выставить его напоказ, открыться людям. Он ждал Бернара с нетерпением, хотя и не был уверен, что в последний миг не отступится от принятого решения.

Из нижних комнат донесли раскаты задорного смеха – и в этот миг к Мерсо вошел Бернар.

– Что случилось? – спросил он.

– Сам не знаю, – отозвался Мерсо.

Врач выслушал его, но ничего путного сказать не смог. Хорошо бы сделать рентгеновский снимок, а пока судить трудно.

– Успеется, – сказал Мерсо.

Врач присел на край подоконника.

– Я лично болеть не люблю, – сказал он. – Отлично знаю, что за штука болезнь. Нет ничего безотрадней и унижительней болезни.

Пропустив слова Бернара мимо ушей, Мерсо поднялся с кресла, предложил ему сигарету, чиркнул спичкой и, смеясь, сказал:

– А нельзя ли задать вам не относящийся к делу вопрос?

– Валяйте.

– Вы никогда не купаетесь в море, так с какой же стати решили похоронить себя в этой дыре?

– Да я и сам не знаю. Больно уж давно это было, – ответил врач и, помолчав, добавил: – Я всегда поступал наперекор всему. Теперь-то страсти малость поулеглись. А раньше я хотел быть счастливым, делать то, что мне заблагорассудится, ну, например, обосноваться в краю, который мог бы мне понравиться. Но загад не бывает богат. Стало быть, нужно жить как можно легче, не надрываясь. Правило довольно циничное, но его придерживается и моя жена, лучшая из женщин на свете. В Индокитае я брал любого быка за рога. А здесь сам жую жвачку. Только и всего.

– Что ж, – сказал Мерсо, затягиваясь сигаретой и пуская дым в потолок. – Но я не уверен, что любой загад не бывает богат. Просто наши попытки заглянуть в будущее бывают иногда неразумны. Во всяком случае меня интересует лишь такой опыт, чьи результаты полностью сходятся с тем, на что мы рассчитываем.

– Да, судьба – это прежде всего мера, – улыбнулся Бернар.

– Судьба человека, – подхватил Мерсо, – может быть захватывающей, если она сочетается со страстью. А для некоторых и захватывающая судьба кроится по мерке.

– Согласен, – сказал Бернар. Он с трудом поднялся и, стоя спиной к Мерсо, бросил взгляд за окно, в ночь. – Вы и я единственные одиночки в этом краю. Я не говорю о вашей жене и ваших подружках: это ведь фигуры случайные. И, однако, мне кажется, что вы любите жизнь сильнее, чем я. – Он обернулся к Патрису. – Потому

что для меня любовь к жизни не исчерпывается морскими купаниями. Любить жизнь – значит жить без оглядки, напропалую. Менять женщин, страны, стремиться к приключениям. Словом, действовать, что-то преодолевать. Ощущать терпкий и жгучий вкус жизни. И, наконец, поймите меня правильно, – доктор запнулся, как бы устыдившись своей горячности, – я слишком люблю жизнь, чтобы довольствоваться прелестями природы.

Он подобрал свой стетоскоп, спрятал его в чемоданчик.

– В сущности, вы идеалист, – сказал ему Мерсо. У него было такое чувство, будто вся его жизнь, от рождения до смерти, сжалась, обратилась в единый миг, миг осуждения и освящения.

– Допустим, – с какой-то грустью согласился Бернар, – но, видите ли, противоположностью идеалистов слишком часто бывают люди, не способные любить.

– Не верьте этому, – сказал Мерсо, протягивая ему руку.

Бернар крепко пожал ее.

– Думать так могут только люди, живущие либо великим отчаянием, либо великой надеждой.

– И тем и другим, наверное.

– Ну, это выше моего разума!

– Возможно, – серьезно ответил Мерсо.

Когда Бернар был уже в дверях, Мерсо неожиданно окликнул его.

– Да, – доктор обернулся.

– Вы способны испытывать к кому-нибудь чувство презрения?

– Пожалуй, да.

– А при каких обстоятельствах?

Врач задумался.

– Это довольно просто, как мне кажется. В тех случаях, когда человеком движет корысть или страсть к деньгам.

– Это и в самом деле просто, – согласился Мерсо. – Спокойной ночи, доктор.

– Спокойной ночи.

Оставшись один, Мерсо погрузился в раздумья. В том состоянии духа, которое он обрел, ему было безразлично, презирает его кто-нибудь или нет. Другое дело – доктор Бернар; в нем он угадывал родственную душу. И ему казалось невыносимым, чтобы одна часть его «я» судила другую. Двигала ли им в свое время корысть? Ведь он проникся столь же кардинальной, сколь и порочной истиной, которая гласит, что деньги – это одно из самых верных и быстрых средств достижения независимости. Сумел подавить в себе горечь, которая охватывает всякую благородную душу при мысли о том, сколько низости и подлости приходится совершать человеку, стремящемуся наилучшим образом устроить свою судьбу. Избавился от гнусного проклятья, обрекающего бедняков рождаться и умирать в нищете, сумел натравить деньги на деньги и ненависть – на ненависть. Но даже во время этой чудовищной схватки случалось, что его оведали лучезарные крылья счастливого ангела, порожденного теплым дыханием моря. Жаль только, что он не нашел в себе сил открыться Бернару и тайна навеки останется похороненной в его душе.

На следующий день, часов около пяти, подружки собрались уезжать. Перед тем как сесть в автобус, Катрин обернулась в сторону пляжа:

– До свидания, море!

Мгновение спустя три веселые мордашки уже уставились на Мерсо из окон автобуса, похожего на огромный золотистого жука. Еще миг – и он исчез из виду в ослепительных потоках света. В самой ясности небосвода было что-то гнетущее. Стоя на дороге, Мерсо переживал странное чувство – смесь облегчения и грусти. Лишь сегодня его одиночество стало вполне реальным, ибо он, наконец, понял, что ему никуда от него не уйти. И это смирение перед одиночеством, сознание того, что теперь он стал полным хозяином грядущих дней, наполняли его душу меланхолией, не отделимой от подлинного величия. Мерсо свернул с дороги и пошел к дому тропинкой, вьющейся у подножия горы среди цератоний и оливок. Несколько раз поскользнувшись, он заметил, что вся тропинка усеяна черными пятнами раздавленных оливок. В конце осени над всем Алжиром плывет запах любви, источаемый цератониями, а вечером или после дождя кажется, будто вся земля отдыхает, пресытившись ласками солнца, и лоно ее еще увлажнено семенами, благоухающими, как миндаль. Целыми днями струится с огромных деревьев в этот тяжелый, удушливый запах. А здесь, на тропинке, полной вечерней прохлады и облегченных вздохов земли, этот запах казался легким, едва уловимым – так веет духами от женщины, с которой ты провел вместе целый день в духоте, и вот, наконец, вышел на улицу, и она не сводит с тебя глаз, прижимается к тебе плечом среди огней и толпы.

Вдыхая этот аромат любви и ее раздавленных пахучих плодов, Мерсо понял, что лето клонится к концу. Впереди – долгая зима. Но он тоже созрел для того, чтобы достойно встретить ее. С тропинки не было видно моря, зато хорошо виднелась легкая розоватая дымка, обволакивающая по вечерам вершину горы. Тени от листья перемежались на земле с пятнами света. И подобно приливу, душу Мерсо освежала вечерняя прохлада, спускающаяся по тропинке между оливами и мастиковыми деревьями, по виноградникам и красной земле прямо к тихо плещущему морю. Такие вечера всегда казались ему залогом счастья, путем, ведущим от надежды к свершению. С сердечной невинностью принимал он это зеленое небо и увлажненную любовью землю, принимал с той же дрожью страсти и желания, которая сотрясала его в миг убийства Загрея.

V

В январе зацвели миндальные деревья. В марте покрылись цветами груши, персики и яблони. Еще через месяц вздулись и тут же опали ручьи. В первых числах мая начался сенокос, в конце – с полей уже убрали урожай овса и ячменя. К июню поспели ранние сорта груш. Источники уже засыхали, зной становился сильнее. Но кровь земли, иссякающая в одном месте, бурлила в другом, заставляя цвести хлопчатник, наливая сладким соком виноградные гроздья. Налетел суховея, опаливая землю, чуть ли не повсюду вызывая пожары. А потом год разом надломился. Быстро закончился сбор винограда. С сентября по ноябрь хлестали яростные ливни, омывая землю. А едва распогодилось, едва подошли к концу летние труды, как подоспело время сеять озимые. Тогда же стала прибывать вода в ручьях, превращая их в бурные потоки. К концу года на иных полях озимые уже пошли в рост, другие участки только успели вспахать. Чуть позже под холодной голубишной небес снова покрылся белым цветом миндаль. Новый год шел своим чередом меж землей и небом. Посеяли табак, окопали и обработали серой виноградники, привили плодовые деревья. В том же месяце стала поспевать мушмула. И снова сенокос, жатва и прочие летние заботы. К середине года столы уже ломались от сочных и клейких на ощупь плодов: смоквы, персиков, груш. А когда стали снимать виноград, небо нахмурилось. Потянулись с севера черные молчаливые стаи скворцов и дроздов. Как раз к тому времени поспели маслины, но убрали их уже после того, как птицы пролетели дальше. И снова из вязкой земли проклюнулось зерно. Тяжкие облака, тоже прилетевшие с севера, пронесли над морем и над землей, смахнули пену с воды, и она стала такой же чистой и холодной, как хрустальное небо. По вечерам на горизонте то и дело вспыхивали далекие зарницы. А потом грянули первые холода.

Вот тогда-то Мерсо и слег в первый раз. Приступы плеврита продержали его взаперти целый месяц. А когда он поднялся на ноги, склоны Шенуа уже покрылись кипенью первых цветов, спускавшихся к самому морю. Никогда весна так не трогала его за живое. В первую же ночь выздоровления он отважился на дальнюю прогулку к тем холмам, где дремала среди развалин Типаса. В тишине, нарушаемой лишь шелковистым шелестом небес, млечным потоком струилась на землю ночь. Мерсо шагал по береговому утесам, завороченный ее задумчивым величием. Внизу тихонько плескалось море, бархатистое, облитое лунным светом, похожее на огромного лоснящегося зверя. И в этот час, когда безучастный к себе самому и ко всему на

свете Мерсо остался наедине с ночью, ему показалось, что он наконец-то достиг своего, сподобился безмятежности, порожденной упорным самоотречением, обрел ее при поддержке того самого мира, который бесстрастно отрицал его право на существование. Он шагал легко, и звук его шагов казался ему не то чтобы совсем чужим, но не более привычным, чем звериные шорохи в зарослях мастиковых деревьев, шум прибоя или пульсация ночи в небесных глубинах. И свое собственное тело он тоже ощущал как бы со стороны, подобно теплоте дыхания этой весенней ночи и запаху соли и гнили, доносившемуся с моря. Его метания по свету, поиски счастья, ужасная рана на виске Загрея, эта мешанина из мозгов и костей, тихие благодатные часы в «Доме перед лицом Мира», его жена, его надежды и боги – все это предстало перед ним подобием неизвестно почему полюбившейся истории, чужой и вместе с тем близкой, показалось чем-то вроде книги, затронувшей самые сокровенные струны его сердца, но написанной кем-то другим. Впервые в жизни он чувствовал себя причастным к одной-единственной реальности: то была тяга к риску, жажда силы, инстинктивное осознание своего родства с миром. Поборов в себе гнев и ненависть, он больше не знал и сожаления... Прижавшись к скале, чувствуя под пальцами ее корявую щеку, он смотрел, как безмолвно вспучивается озаренное луной море, и вспоминал о щеках Люсьены, о теплоте ее губ. По морской глади струились маслянистые блики, следы от поцелуев луны. Вода, должно быть, была теплой, как женские губы, такой же податливой, готовой расступиться под напором мужчины. Не отрываясь от скалы, переживая немой восторг, сотканный из надежды и отчаяния, Мерсо чувствовал, как недалеко от его счастья до слез. Ко всему внимательный и всему чуждый, пожираемый страстью и совершенно невозмутимый, он сознавал, что здесь завершаются сама его жизнь и судьба, и что теперь ему остается одно: свыкнуться с этим счастьем, встретить лицом к лицу его ужасную истину.

И вдруг ему захотелось сломя голову окунуться в парное море, поплавать в лунном свете, чтобы заглушить в себе голоса прошлого глубокой мелодией нынешнего счастья. Он разделся, спустился по скалам вниз и вошел в море, жаркое, как человеческая плоть. Вода струилась вдоль плеч, цеплялась за ноги неуловимой, но прочной хваткой. Мерсо плыл размеренно, чувствуя, как сокращаются спинные мускулы, толкая его вперед. При каждом взмахе руки он поднимал над морем целый рой серебристых летучих брызг – они казались лучезарными зернами из закромов его счастья. Потом рука снова погружалась в воду, вспарывая ее, рассекая надвое, как плуг рассекает пашню для нового посева. А позади от взбитой его ступнями воды закипала пенная струя и расходились волны, их плеск на удивление отчетливо слышался в пустынной ночной тишине. Зачарованный ритмом плавания, наслаждаясь собственной ловкостью, Мерсо поплыл быстрее и вскоре оказался далеко от берега, в самой сердцевине ночи и мира. И только тогда, вспомнив о разверстой у него под ногами бездне, умерил свою прыть. Глубина влекла его как лицо неведомого мира, как продолжение этой ночи, в которой он обрел самого себя, как солоноватое влажное лоно иной, незнакомой ему жизни. На миг опасное искушение овладело им, но он одолел соблазн и поплыл еще дальше и еще быстрее. И только ощутив во всем теле блаженную усталость, повернул к берегу. Но как раз в этот миг угодил в ледяное подводное течение, сбился с ритма и, лязгая зубами от холода, завертелся на месте. Сюрприз, поднесенный морем, только раззадорил бы его, но холод пронизывал до костей, обжигал ледящей и страстной лаской неведомого бога, отнимая последние силы. Он кое-как добрался до берега и оделся, смеясь от счастья, хотя у него зуб на зуб не попадал.

На обратном пути ему стало плохо. С тропинки, поднимавшейся от моря к его дому, был виден скалистый полуостров на той стороне залива, гладкие стволы колонн и развалины вокруг. Внезапно все это закружилось у него перед глазами, он пошатнулся, ударился о скалу и очнулся в придорожных кустах, чьи мясистые раздавленные листья источали аромат мастики. Поднялся, с трудом доковылял до дома. Тело, только что казавшееся источником неиссякаемой радости, теперь изнемогало от боли, засевшей где-то в животе, глаза слипались. Он решил приготовить себе чай, но кастрюлька для кипячения оказалась грязной, напиток получился тошнотворным. Через силу сделал несколько глотков и отправился спать. Стаскивая ботинки, взгляделся в свои бескровные руки: ногти на них были неестественно розовые, широкие, с загнутыми концами. Нет, никогда у него не было таких ногтей, придававших руке какой-то болезненный, неприятный вид. Грудь ломило. Он прокашлялся и несколько раз сплюнул. Слюна была обычного цвета, но во рту остался привкус крови. В постели у него начались судороги, они возникали в ступнях и двумя ледяными струйками пробегали до самых плеч. Его била дрожь, мучила испарина. Дом словно раздался во все стороны, привычные звуки разносились по нему так отчетливо, будто вокруг не было никаких стен. Он слышал плеск моря о

прибрежную гальку, пульсацию ночи за окном, лай собак в дальних деревушках. Его бросало из жары в холод, он то натягивал на себя одеяло, то сбрасывал его. Клонило в сон, но какая-то смутная тревога не давала заснуть по-настоящему. Тут-то до него и дошло, что он снова заболел. Ему стало страшно при мысли, что он может умереть в этом полузабытьи, так и не разомкнув глаз. На деревенской церкви пробили часы, но он не смог разобрать числа ударов. Ему совсем не улыбалось умирать от болезни. По крайней мере, от болезни, которая оказалась бы, как это часто бывает, постепенным, облегченным переходом к смерти. Подсознательно он жаждал встречи со смертью во всей полноте своих жизненных сил. Предстать перед смертью уже полумертвым – не дай Бог! Он поднялся, с трудом пододвинул к окну кресло, уселся в него, закутался в одеяло. За легкими занавесками, там, где не было плотных складок, сияли звезды. Он сделал глубокий вдох и вцепился в подлокотники, чтобы унять дрожь в руках. Самое главное – это сохранить ясность сознания. «Надо попытаться», – подумал он и вдруг вспомнил, что не выключил газ на кухне. «Надо попытаться». Но и тут не обойдешься без долгих усилий. Ничего в жизни так просто не дается, все приходится завоевывать. Он трахнул кулаком по подоконнику. Никто не рождается сильным или слабым, волевым или безвольным. И силу, и ясность сознания нужно выстрадать. Судьба гнездится не в самом человеке, а витает вокруг него. И тут Мерсо заметил, что он всхлипывает. От слабости, от детского страха – болезнь чуть не превратила его в плаксивого ребенка. Руки охладели, к горлу подступила тошнота, Мерсо вспомнил о своих ногтях, потом принялся ощупывать распухшие лимфатические узлы под ключицей. И подумал только, что за красота разлита над миром, там, за окнами! Его мучила неутолимая жажда жизни, ревнивая влюбленность в нее. Он подумал о вечерах в Алжире, когда под зеленым куполом небес звучат фабричные гудки и людские толпы высыпают на улицу. Вспомнил о польни и полевых цветах среди развалин, домишке, сиротливо ютящемся среди кипарисов в Сахеле, – и перед его глазами возникало видение жизни, чья красота и счастье, казалось, сотканы из отчаянья, из обрывков мимолетной вечности. Вот с чем ему так не хотелось бы расставаться! Неужели жизнь будет идти своим чередом и без него? Задышавшись от бессильной ярости и жалости к самому себе, он вспомнил обращенное к окну лицо Загрея. Закашлялся, кое-как отдышался. Под одеялом было душно, его снова бросало то в жар, то в холод. Он сгорал от смутного бешенства и, судорожно сжимая кулаки, чувствовал, как кровь тяжело стучит в висках. Вперившись в пустоту, он ждал, что новая волна судорог вот-вот смоет его в пучину лихорадочного забытья. Его и впрямь скорчило, передернуло, и он очутился в липком, совершенно замкнутом мирке, где его глаза волей-неволей закрылись и сам собой угас неукротимый животный бунт. Но перед тем, как забыться во сне, он успел увидеть, что ночь за занавесками побледнела, и расслышал голос пробуждающегося с зарей мира, властный зов нежности и надежды, заглушавший его ужас перед смертью и в то же время уверявший, что он обретет смысл смерти в том же, в чем состоял весь смысл его жизни.

Когда он проснулся, день был уже в разгаре, за окнами, на припеке, всю щебетали птицы и стрекотали цикады. И тут ему вспомнилось, что как раз сегодня должна приехать Люсьена. Чувствуя себя вконец разбитым, он еле дотащился до постели. Во рту остался привкус лихорадки, а в глазах ощущалась такая резь, что все вокруг казалось каким-то колючим, неприветливым. Мерсо велел пригласить Бернара. Тот явился, как всегда, молчаливый и озабоченный, послушал больного, снял очки, чтобы протереть стекла, и, наконец, пробормотал:

– Да, дело плохо.

Потом сделал Патрису два укола, отчего тот на какой-то миг потерял сознание, хотя особой чувствительностью не отличался. А придя в себя, увидел, что доктор одной рукой старается прощупать его пульс, а другой держит часы, следя за судорожными скачками секундной стрелки.

– Вы были в обмороке целую четверть часа, – сказал он. – Сердце не выдерживает. Следующая потеря сознания может оказаться роковой.

Мерсо прикрыл глаза. Он совсем обессилел, губы у него посинели и потрескались, воздух вырывался из груди со свистом.

– Бернар, – позвал он.

– Да.

– Это так ужасно – скончаться в беспмятстве. Я хочу встретить смерть в полном сознании, вы понимаете?

– Понимаю, – кивнул Бернар, протягивая ему пригоршню ампул. – Если вам станет хуже, разбейте одну и проглотите. Это адреналин.

Выходя, доктор столкнулся с Люсьеной.

– Вы все так же очаровательны.

– что с Патрисом? Он заболел?

– Да.

– Серьезно?

– Да нет, все хорошо, – поспешил успокоить ее Бернар. И, уже в дверях, добавил:

– Только постарайтесь не утомлять его, оставляйте почаще одного.

Весь день Мерсо боролся с приступами удушья. Дважды к сердцу подкрадывалась холодная и цепкая пустота, угрожая новой остановкой пульса, но оба раза адреналин вызволял его из этой липкой бездны. И весь день он не отрывал помутневших глаз от бесподобного вида за окнами. Часа в четыре на морском горизонте показалась красная точка и, мало-помалу вырастая, превратилась в большую лодку, сверкавшую от водяных брызг, солнечных лучей и рыбьей чешуи. На корме суденышка, равномерно загребая веслами, стоял Перез. А вслед за тем почти мгновенно настала ночь. Мерсо закрыл глаза и впервые за целый день улыбнулся. Люсьена, незадолго перед тем заглянувшая в спальню – ее томила смутная тревога, – бросилась к нему, обняла и поцеловала.

– Присядь, – попросил ее Мерсо, – ты можешь побыть со мной.

– Хорошо, только ты помолчи, не трать сил понапрасну.

Так они промолчали до тех пор, пока не появился Бернар; сделав укол, он тут же удалился. Огромные алые облака не спеша плыли по небу.

– Когда я был маленьким, – с трудом произнес Мерсо, откинувшись на подушки и не сводя глаз с неба, – мама говорила мне, что закатные облака – это души умерших, возносящиеся в рай. Вот так чудо, думал я, значит, и у меня душа алого цвета. Теперь-то я знаю, что алые облака просто-напросто предвещают ветреный день. Но и это тоже чудесно.

Наступила ночь, полная видений. Огромные сказочные звери покачивали головами среди пустынных пейзажей. Потихоньку отогнав их подальше, в глубь лихорадочного беспмятства, Мерсо оставил перед мысленным взором только окровавленное лицо Загрея. Смерть скоро породнит их, убийца и жертва станут братьями. Мерсо озирает свою жизнь таким же ясным, мужественным взглядом, каким смотрел в свое время на Загрея. До сих пор он просто жил, теперь пришла пора подвести итоги этой жизни. Что же осталось от того неистового порыва, который вечно толкал его вперед, от той неуловимой, но созидательной поэзии, которой было преисполнено его существование? Ничего, кроме голой истины, а уж она-то не имеет ничего общего с поэзией. Все мы с самого рождения носим в себе множество несхожих существ, массу переплетенных между собою, но неслиянных зачатков личности и лишь перед самым концом угадываем, что же из них было нашим подлинным «я». Обычно этот выбор делает за нас судьба. А Мерсо осуществил его сам, сознательно и решительно. В этом и состояло все его счастье как в жизни, так и в смерти. Еще недавно он смотрел на смерть с животным ужасом, а теперь понял, что бояться ее – значит бояться самой жизни. Страх смерти можно оправдать только безграничной привязанностью ко всему, что есть живого в человеке. Кто не решался действовать, чтобы вознести свою жизнь на новую высоту, кто малодушно упивался собственной немощью, те не могут не бояться смерти, памятуя о том приговоре, который она выносит их прошедшей впустую жизни. Такие никогда не жили в полную силу, да и жили ли они вообще? Смерть навсегда лишает живительной влаги тех странников, кто не сумел утолить свою жажду при жизни. А для других оказывается роковым и благостным событием, отвергающим и уничтожающим их бытие, но равно принимающим и смирение, и бунт.

Весь день и всю ночь Мерсо провел, сидя на краешке кровати, опершись на ночной столик и охватив голову руками: лежа он уже не мог дышать. Люсьена молча смотрела на него, примостившись рядом. Он тоже иногда поглядывал на жену, думая о том, что, потеряв его, она не устоит перед первым встречным. Отдастся так же, как отдалась ему, и ничего в мире не изменится, когда кто-то другой будет дышать теплом ее полураскрытых губ. А иногда он поднимал голову и смотрел в окно. Теперь его трудно было узнать: воспаленные глаза потускнели и глубоко ввалились, впалые бледные щеки заросли синеватой щетиной.

Он с кошачьей тоской посмотрел за окно, потом вздохнул и перевел взгляд на Люсьену. Теперь он улыбался, и эта жесткая, скупая улыбка придавала его исхудавшему, осунувшемуся лицу неожиданное выражение силы и бодрости.

– Ну, как ты? – спросила она упавшим голосом.

– Ничего, – отозвался он и, снова обхватив голову руками, погрузился в свою ночь. И тут, на исходе воли к сопротивлению, ему впервые открылась тайна улыбки Ролана Загрея, так раздражавшей его в первое время их знакомства. Он дышал прерывисто и хрипло; жар его дыхания оседал влажным пятном на мраморной крышке столика, а потом теплым облачком обдавал лицо, и эта нездоровая теплота была особенно ощутима по контрасту с заледеневшими пальцами и ступнями. Сочетание тепла и холода тоже было приметой жизни, оно приводило на память восторг Загрея, благодарившего жизнь за то, что она «еще дает ему возможность гореть». Патриса внезапно охватил порыв яростной братской любви к этому человеку, который когда-то был ему совершенно чужим; теперь он понял, что, убив Загрея, он навсегда связал себя с ним узами более прочными, чем узы любви. И общими были накопившиеся в нем слезы с привкусом жизни и смерти.

Вспоминая невозмутимость Загрея, глядящего в лицо смерти, Мерсо прозревал в ней тайный и безжалостный образ собственной жизни. Прозрению помогала лихорадка, а еще – восторженная уверенность в том, что он пребудет в полном сознании до самого конца и встретит смерть с открытыми глазами. В тот далекий день глаза Загрея тоже были открыты – и на них наворачивались слезы. Но то была последняя слабость человека, не сумевшего взять свое от жизни. А Патрису нечего было бояться этой слабости. Вслушиваясь в лихорадочные толчки крови, словно рвущейся вон из тела, он знал, что эта напасть обойдет его стороной. Ибо он сыграл предназначенную ему роль, исполнил единственный настоящий долг человека – быть счастливым. Правда, счастливым он был недолго. Но разве дело во времени? Оно может только служить препятствием на пути к счастью, а в остальном его можно и не принимать в расчет. Мерсо одолел эту преграду, а уж сколько там сумело прожить порожденное им новое и счастливое существо – два года или два десятка лет – это значения не имеет. Счастье состояло в том, что он дал жизнь этому существу.

Люсьена поднялась, чтобы поправить одеяло, сползшее с его плеч. Он вздрогнул от ее прикосновения. Начиная с того дня, когда он чихнул на площади перед виллой Загрея, и вплоть до нынешнего часа, его тело верой и правдой служило посредником между ним самим и миром. Но в то же время продолжало собственное существование, не зависимое от воплощенного в нем человека. И все эти годы в нем длился медленный, незримый процесс распада. Теперь оно завершало свой путь и было готово расстаться с хозяином, вернув его миру. Дрожь, внезапно сотрясая Патриса, была лишним подтверждением их давнего и обоюдного согласия, которое даровало им обоим столько радостей. Будь иначе, Мерсо не воспринял бы эту дрожь с чувством отрады. Не хитря и не малодушничая, он добился того, чего хотел: в ясном сознании остался наедине со своим телом и теперь мог заглянуть в лицо смерти широко раскрытыми глазами. Суть в том, чтобы вести себя по-мужски, ведь оба они были настоящими мужчинами. И больше ничего вокруг – ни любви, ни показных жестов, – только бескрайняя пустыня одиночества и счастья, среди которой Мерсо разыгрывал свои последние карты.

Его дыхание становилось все слабее. Он втянул в себя глоток воздуха, и легкие захрипели, словно трубы испорченного органа. Лодыжки сковал холод, кончики пальцев онемели. Занималась заря.

Раннее утро было полно птиц и свежести. Солнце одним скачком поднялось над горизонтом. Земля облеклась в золото и зной. Небо и море обдавали друг друга голубыми и янтарными брызгами, играли в солнечные зайчики. Поднялся легкий ветер, дышавший солью сквозняк ворвался в окно, освежив ладони Мерсо. К обеду

ветер утих, и под дружное пение цикад день лопнул, словно перезрелый плод, обдав все пространство мира теплым и душистым соком. Покрытое золотистыми масляными блестками море дохнуло на изнемогшую от солнца землю, и га, в свою очередь, задышала ароматами полыни, розмарина и раскаленных камней. Лежа в постели, Мерсо уловил миг этих дуновений, этого взаимного обмена дарами и пристальней взгляделся в огромное и округлое море, сияющее улыбками богов. Потом он внезапно заметил, что уже не лежит, а сидит, а рядом с его лицом виднеется лицо Люсьены. Что-то похожее на камень медленно поднималось из глубины его существа, подступая к самому горлу. Мерсо дышал все быстрее и быстрее, пользуясь задержками этого тяжелого комка. А тот все поднимался и поднимался. Мерсо взглянул на Люсьену, спокойно улыбнулся, – казалось, что его улыбка тоже идет откуда-то изнутри. Потом откинулся на подушки, не переставая ощущать в себе это медленное, неудержимое восхождение. Посмотрел на припухшие губы Люсьены, на улыбку земли за ее спиной, – посмотрел с одинаковым интересом и вождением.

«Через минуту, через секунду», – подумалось ему. Восхождение завершилось. И, став камнем среди камней, он с радостным сердцем обратился к истинам недвижных миров.

Сноски

1

Бальтасар Грасиан (1601–1658) – испанский писатель–моралист, иезуит.

2

овоци, зелень(англ.).

3

Надписи на немецком и итальянском языках.

4

Рыбная похлебка с приправами.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!